
ЮРИЙ ЛИБЕДИНСКИЙ

СОЧИНЕНИЯ, ТОМ II

1924-1926

ЮРИЙ ЛИБЕДИНСКИЙ

1924—1926

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Обложка художника В. ДВОРАКОВСКОГО
Редактор М. Смирнов. Техред Э. Бейлина

Отпечатано в 7-й типографии ОГИЗа им. Бухарина, Ленинград, ул. Моисеенко, д. 10.
Ленинградский Областлит № 15165. 82/111. 15 /₄ л. / 20. Огиз № 1118/Л. Зак. № 306. Тир. 5000.

КОМИССАРЫ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Гарнизоны и части нашего раздольного округа разбросаны по горным, еле теплящим машинную жизнь заводам, да по степным бездорожным городишкам, в которых без рабочей опоры маются одинокие укомы.

Отгремела гражданская, и военкомы, ребята армейской закалки...

— Скучают они, Ефим! Все — оттого, что скучают.

— Хуже, товарищ Власов! Многие разлагаются.

— Так я о чем и говорю. Все это от скуки! Ну, к примеру, женился на купчихе там или на поповне... Многие пьянствуют... А кто хозяйством обзавелся и утратил пролетарский дух. Одно слово — нету былого боевого огня.

— С переходом к мирным формам агитпропработы большинство из политсостава нашего не справляется. Нехватает знаний. Вот Васильев, толковый человек, московский металлист, пишет, что трудно работать с полком. А ведь на фронте был комиссаром бригады. Опять же старик этот... Шалавин, комбриг¹ седьмой трудовой...

— Да, он мне тоже писал. Надо что-то придумать.

Такое заключение положил командующий округом Власов, после часового разговора с помощником своим, начпуоком² Ефимом Розовым, с глазу на глаз в своем кабинете, где белые стены и высокие окна.

Оба замолчали.

Власов разгладил широкую бороду, прикрыл ею два ордена Красного знамени и толстыми мужицкими пальцами принялся старательно свертывать цыгарку.

У Розова — тонкие ловкие пальцы часового мастера; он то поправляет очки, то гладит свои волосы, редкие, мыском выбежавшие в желтый и высокий лоб, то быстро перелистывает сводки, точно в них отыскивает решение.

Отгремела гражданская, вихри ее отшумели в Крыму и

¹ Комбриг — командир бригады.

² Начпуокр — начальник политического управления округа.

у польской границы, всколыхнули Сибирь, забурили в Кронштадте, и как будто затихли. Что это, тишина перед новым, более могучим шквалом?

Власов и Розов поодиночке задумывались над тем, что идет, и по-своему, так, как подсказывала работа, понимали это грозное, и каждый по-своему готовил отпор. И чутко, так же, как и вся партия слушала бесшумное движение классовых сил широкой страны, так и они прислушивались к сводкам и отчетам. И вот, хотелось всех этих комиссаров, знакомых по армии, пересмотреть, как старое оружие: не заржавели ли, не дали ли трещин, не зазубрились ли? И еще раз — откалить и отточить для какой-то битвы, которая будет.

— Вызвать всю шатию сюда... Вроде как на съезд. И пощупаем и придумаем... Грех сказать, ведь ребята хорошие, но скучают, сукины дети. Так чего ж... И я скучаю, — добавил он как бы удивленно, точно сам не ожидал от себя таких слов. И ярко похитрили его блестящие синие глаза. — Только что охотой и спасаюсь.

Начпо,¹ услышав последние слова, погладил рукой лоб и поморщился: охотничьих забав командующего не одобрял, и командующий знал об этом. Начпо погладил лоб и так застыл на секунду. Потом хлопнул ладонью по столу.

— Так, — сказал он, — курсы нам созвать надо. Со всего края собираем политсостав, одних — снимаем, других — по желанию. Под военную дисциплину всех — раз, учебу всякую, и политическую и общеобразовательную — два. Около глаз будут — три.

Командующий сощурился, цыгарка потухла и прилипла к нижней губе. На него торжествующе посматривал начпо и поправлял очки.

— А верно, Ефим, но только надо все это обмараковать,² что к чему и куда... Начальника надо, который бы с такой публикой, чересчур ответственной, справился, а лекции-то ведь им читать надо.

— Это — пустяки, это — от губкома. Общеобразовательные предметы — голодной интеллигенции хватит. Спеца

¹ Начпо — начальник политического управления округа.

² Обмараковать — обдумать, обсудить.

для строевых занятий — ты найдешь. Вот начальника и учебно-политический состав подыскать — это будет потруднее...

Он на минуту задумался, и бумага опять зашелестела под его быстрыми, взволнованными пальцами. Командующий ждал. Он давно знал Ефима, знал, что подталкиванием и расспросом нельзя мешать его организационному вдохновению, когда совершенно неожиданные сочетания — людей, должностей и учреждений — легко и свободно рождались в его квадратной, высокой голове.

— Начальником кого? — медленно переспросил Ефим. — Арефьева! Ты куда его предполагаешь направить?

— Арефьева? Хочу отпустить в академию генштаба... А ведь он начальник-то будет крепкий... Только...

— Ну, это не плохо. Бывший офицер — он строевую часть поставит... Да и он разжалованный...

— А все же об его меньшевизме ты не забывай...

— И, стало-быть... помощника ему надо большевика цельного. Кого?

— Миндлова Иосифа, начпогуба,¹ из Н-ска же.

— Он болен... Я сказал ему рапорт писать. Вчера он приехал.

— Ну, ну... Найдем другого. Арефьева я вызываю. Завтра придет, послезавтра — в приказ. На следующей неделе, примерно во вторник, начнут съезжаться, а? — вставая, сказал начпо. — Или раньше?

Командующий не ответил.

Занавеси окна шевельнул ветер, и оттуда, из-за пестроты городских крыш, чуть слышно потянуло далекой хвойной гарью.

Начпо был нездешних мест, и не понимал он этого запаха, сухого и легкого, как хвоя прошлогоднего лета, потому что в детстве не сбирал он год за годом землянику, настоенную солнцем на жирном смолистом насту, не бродяжил вокруг литых озер и не партизанил в тылу у Колчака.² Из

¹ Начпогуб — начальник политического отдела губернского военного комиссариата.

² Колчак — адмирал; руководил белогвардейским движением в Сибири.

южных приморских губерний закинула его сюда гражданская война, и потому не похож он на здешний неторопливый народ. Сухонький, маленький, поворачивался он быстро, резко, но без лишней суеты, как складной ножик в руках у ловкого в резьбе человека.

— Что-то рано нынче леса горят, — сказал Власов, пожимая руку Ефима. — Похоже, недород будет. Не дай...

— Итак, завтра пришло на подпись.

— Ладно. Прощай.

Командующий долго еще сидел, повернув лицо к окну. Он покуривал цыгарку и щурился на синие горы, со всех сторон обступившие разноцветный каменный ковер города. Думал командующий, что если бы два года назад, когда в тылу у белых по каплям собирал он рабочих в свою дивизию, и когда у него еще не хватало винтовок, патронов и совсем не было артиллерии, сказали б ему, что будет он сидеть в узловом городе края командующим округом, и война будет окончена, — ведь он считал бы это за высшую победу революции. А теперь высшая победа есть, но открылись новые — и какие большие — опасности! И, покачивая головой, раздумывал он о том жестоком восстании крестьян, которое только затушили, и дымящиеся головни которого еще тлеют там, в казачьих станицах, в юго-восточных ветряных степях.

Таня сказала коротко, разом и замолкла.

Ефим чувствовал, что она ждет его слов и, главное, его радости. Это укрепило б ее в принятом решении. Но он, вымыв руки, старательно вытирал их, точно делал какое-то очень важное дело, и, видимо, оттягивал ответ. И оттого, что ответ был дан не сразу, Таня запечалилась, потухли глаза, опустились углы губ, она засутулилась и села на кровать.

— Танюша, это оторвет тебя от общественной жизни — первое. Второе... Хотя, ведь ты сама рассуждай. Я... я боюсь за твою жизнь... и... боюсь остаться один. И надо ясно сказать, что ты не будешь таким товарищем моим, как до сих пор, верно?

Он сел рядом с ней, обнял ее широкие плечи и заглянул в ее большелобое лицо с чуть вывернутыми губами, в ее

выпуклые длинные глаза. И она сказала, касаясь губами его уха:

— Фима, ты рассуждай, как коммунист. Ведь если мы, коммунисты, не будем иметь детей, то кто нас сменит? Я его воспитаю как коммунара. . . Что ты, Ефим?

Она с недоумением смотрела на него, сразу отшатнувшегося, и видела знакомую ей нетерпимую и сухую усмешку.

— Зачем фальшь? Скажи просто — хочу быть матерью, инстинкт, а то употребляешь коммунистические принципы для прикрытия. Шла бы в детдом работать, вон они в каком состоянии! Там и воспитывала бы коммунистов.

Она густо покраснела, но не опустила своего синего взгляда. Ответить было нечего, но чем-то основным, бессловесным она знала, что права. И потому, что он этой правоты не понимает, ей больше не хотелось говорить.

— Ладно, Фима, посмотрим. . . А ты знаешь, здесь был сегодня Иосиф Миндлов. Он очень больной.

Розов отвернулся и глядел в окно.

— Мы все больные, — глухо сказал он.

— Ну, да. . . конечно. . . Но знаешь — у него так дергается лицо. Потом он боится один оставаться в комнате и похудел. А жена у него сейчас в санатории, и он хочет ехать к ней.

Ефим отошел от окна, и сейчас показался ей особенно бледным.

— Да и ты, Фима, как плохо выглядишь! Зачем так поздно задерживаешься? Ты ляг, ляг.

Она подошла к нему, и рядом с ним казалась она высокой и полной, как бы была его матерью. Уложила его в постель, принесла кринку молока. И, глядя, как он маленькими глотками пьет и как молоко окрашивает его бледные, такие знакомые и милые губы, она рассказывала ему о своей красноармейской школе.

А потом он говорил ей о своем, что накопилось за день. Так всегда, после восьми — десяти часов разлуки, они сейчас же рассказывали, что каждый делал, и делились мыслями о своей работе, спрашивая совета друг у друга. Работа не покидала их и могуче переливалась в досуг.

— Начальником курсов будет Арефьев. Помнишь, ко-

гда был я в поарме,¹ он ко мне заходил в вагон, комиссар дивизии, высокий такой, военная выправка.

— Да, припоминаю. Офицер. . . Ведь это, Фима, будет мешать в работе.

— Лучше не найдем. У него воля крепкая. Марксист он довольно сильный. Имеет военный авторитет. А его помощником мы назначили. . . — он вдруг передохнул, как будто проглотив горькое, — а его помощником будет Миндлов.

Ефим замолчал. Таня вспомнила, как несколько секунд назад показалось ей особенно бледным его лицо. И она молчала.

— Ты же знаешь, Таня, какое у нас безлюдье, — хрипло заговорил он. — Я перебирал весь политсостав округа, — некого. Да еще эта стихийная демобилизация.

— Но ведь он болен, — тихо сказала Таня. — Фима, если б ты видел, как у него лицо дергается.

Ефим осторожно высвободился из-под руки Тани и ушел к столу. Раздражение против нее подавил легко и привычно.

Привычка эта выработалась с того времени, когда еще мальчишкой обучался он часовому делу в большой мастерской южного города. Сидит, бывало, Розов, склонившись над столиком, собирает колесики и винтики, золотые шурупчики² и звонкие пружинки, — и в лупу они мелки. Синие круги проплывают в глазах, от напряжения мельчайшей дрожью дрожат обученные тонкие пальцы, и, когда вспомнишь, что часы эти будут в золотом кольце, или в брошке, или в ожерелье, и ради этого губишь глаза, хочется озлиться, заскрежетать и плеснуть эту золотую бездель в огонь печи.

Нет, нет. Спокойно. Есть книга — «Эрфуртская программа». В Питере газета есть — «Правда»³. Неаккуратно, но долетает она и сюда. Старый крот хорошо роет, все придет в свое время. И в марте семнадцатого года вошел Розов в мастерскую, последний раз оглянул ее, посмотрел на свой

¹ Поарм — политический отдел РВС армии.

² Шурупчики — мелкие винтики.

³ «Правда» — центральный орган ВКП(б), основанный в апреле 1912 г. в Питере; до революции газета сыграла огромную роль в организации стачечной борьбы, в борьбе с ликвидаторами и т. д.

табурет, на склонившихся мастеров. Получил расчет и больше не возвращался.

Но терпеливая и осторожная сноровка часовщика на всю жизнь вьелась в него и пригодилась для борьбы и работы.

Таня в полудремоте. Сощутив глаза, глядит она туда, где над письменным столом упрямо склонилась его спина. Думает она об его суровости, о том, что недаром слывет он по округу бюрократом. И вот она уже оправдала его; знала она, что пружинка волевого устремления к будущему — к коммунизму, так крепко завинчена в нем, что и свою жизнь он ломает так же безжалостно, как и жизнь других. . . И ведь он тоже больной, глухо кашляет, не спит по ночам, но даже ей не говорит ничего и продолжает свое дело. И уже не было мысли о нем, была только нежность к нему.

— Ефим, — позвала она тихо. — Подойди-ка сюда.

Он подошел. Она поцеловала его в твердый холодный лоб и в губы, он обнял ее мягкие теплые плечи. И она шепнула ему с похитревшим, но в темноте невидимым лицом:

— Вот ты говоришь — имею ли я право хотеть ребенка? Но это неверно так спрашивать. Вот, скажи, имел ли ты право хотеть меня? Ведь если бы не ты, я бы и не хотела ребенка. Верно?

Обычно Ефим чувствовал себя умнее и лучше Тани понимающим жизнь, и она молчаливо подчинялась его руководству. Но порою вспыхивали у нее такие простые и теплые мысли, что под ними, точно под светом солнца после холодной ночи, по-новому светила и грела жизнь и показывала свои невиданные стороны. Но эти новые стороны всегда путали Ефима, они мешали ему действовать. Могучий рассудок опять брал верх, исчезали неожиданно вспыхнувшие краски, опять ложился четкий рельефный ¹ план. Так было сейчас.

— Глупости все, — сказал он, усмехнувшись, погладил ее сухие щекотные волосы и вернулся к работе.

Идет Иосиф Миндлов по старинным кривым переулкам, и солнце весеннего утра теплой ладонью гладит его черные

¹ Рельефный — выпуклый, отчетливый.

пушистые волосы и радужные струйки зажигает в расколоте пенсне.

Хорошо Иосифу Миндлову от того, что через две — три недели теплая ладонь Лии будет гладить его лицо. Эта теплая ладонь столько раз проходила по лбу и щекам к шее, что все движения ее заранее можно предсказать, как знакомую и простую радостную песню. Миндлов ласково улыбается и даже бормочет про себя.

Переулки пусты, подслеповаты домики, зелены кусты сирени и акации за заборами, гулок шаг по деревянным тротуарам.

Доктор сказал, что нужен отпуск в четыре месяца. Это слишком много. За это время может, чего доброго, мировая революция произойти. Вообще, доктор чудак. И какие вопросы: каковы конкретно ваши обязанности?

Обязанности — пст! Обязанности — это самое маленькое, восемь часов в политотделе — пустяки. Обязанностей как будто бы немного. Но разве обязанность заставляет ночи просиживать на всех заседаниях? Разве обязанность гонит в каждую часть губернии еще и еще раз проверять политшколы? Разве по обязанности часы сна отдаешь Марксу?

Итак, в кармане две бумажки. На одной, за печатью, шесть болезней Миндлова, длинный список лекарств и грозной латынью мотивирована необходимость четырехмесячного пребывания в Крыму.

Передавая эту бумажку, доктор веско сказал:

— Если вы немедленно не поедете, то будете, — ну, через две недели примерно, — в сумасшедшем доме. Удивляюсь, как это вы еще до сих пор держитесь. Это — во-первых. И умрете от туберкулеза и малокровия — это во-вторых.

Жить и надо, и хочется.

Потому на второй бумажке рапорт на имя начпо о предоставлении двухмесячного отпуска. Два месяца — хватит. Ведь рядом будет Лия — лучшее лекарство. Конечно, рапорт — пустая формальность. В округе знают, раз Миндлов просит отпуск — значит, плохо. К тому же начпо — Ефим, друг и товарищ по подполью.

Вот и белое здание пуокра¹. Знакомый плакат, знакомый лозунг, знакомая площадка. В кабинете начпо совещание. Увидев Миндлова в дверях, Розов точно хочет отвернуться, потом, не глядя в его сторону, быстро кивает ему и продолжает говорить.

Миндлов садится поодаль на диван и слушает.

Очевидно — совещание начотделов.

Ефим размеренно, мелочь за мелочью, критикует работу информационного отдела. Миндлов знает, что информстатотдел² работает неважно, сам он не раз ругал эти подураски составленные, непонятные и путающие военкомов формы отчетности. Надо упростить. Ефим прав.

А все же странно: когда Миндлов вошел, Розов резко отвернулся от двери. Может, оттого, что говорил в это время? И кивнул боком как-то. Миндлов эту встречу представлял иначе.

Надо ли раньше рассказывать о болезни, и потом уже подавать рапорт?

Нет. Официально сразу подам рапорт.

Как долго длится это совещание.



— Вот, прочти. Здесь обо всем. Политотдел ликвидировал и... На два месяца.

Розов прочел и, не поднимая глаз от письменного стола, начал рыться в бумагах. У него чуть-чуть дрожат губы и веки опущенных глаз. Нашел и протянул Иосифу лист бумаги.

— Прочти в конце, — сказал он.

Теперь лицо его застыло, глаза спокойно смотрят сквозь Иосифа, точно не видя его.

— Что это?

И тревога холодит плечи и колени Миндлова.

— Конечу смотри.

«Товарища Миндлова Иосифа начальником учебнополитической части и заместителем».

Миндлов машинально встал и перечел весь приказ.

¹ Пуокр — политическое управление округа.

² Информстатотдел — информационно-статистический отдел.

— Возьми рапорт обратно, Иосиф. Мне не хочется писать на нем резолюцию отказа. Кроме тебя назначить некого.

Глух и невнятен голос Розова, и опять у него задрожали веки и губы.

Какое мучительное лицо. Но взять рапорт назад — это значит признать, что нельзя было его подавать.

— Ты разве не знаешь, Ефим, что если я такой рапорт подаю, то я знаю, что так надо.

— А я... иначе... поступить не могу. Возьми, Иосиф, обратно рапорт, я прошу тебя.

— Товарищ Розов, в официальном порядке требую резолюцию на свой рапорт! Официально!

Розов повторил это последнее слово Миндлова, и оно стеклянной стеной встало между ними. Розов перечитал рапорт, и лицо его непреклонно застыло. С букв рапорта в глаза Иосифу перевел он свой взгляд, блестящий, жестоко-холодный, как у птицы.

— Официально? Думаешь, меня нехватит?

И, разбрызгивая по рапорту мелкие капли красных чернил, он написал: «Отказать».

На подписи перо сломалось.

— Завтра, товарищ Миндлов, приступайте к вашим обязанностям.

Миндлов одну, другую секунду простоял неподвижно. Когда же почувствовал он, что лопнули все провода, скреплявшие воедино их жизни, и осталась только щемящая обидная боль, он запотевшими пальцами взял рапорт и вышел из кабинета.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Приказ по округу собирает комиссаров, выдирает их из работы, отрывает от привычного круга товарищей и таких теплых, после гражданской войны, семейных радостей.

Больной, надорвавшийся Иосиф Миндлов не едет лечиться и отдыхать, — к жене, на берег солнечного моря, а по лениво живущим утренним улицам идет на курсы опять принять на намозоленный хребет упряжку работы.

Все это оттого, что переменялись ветры, а по-новому ставит партия паруса на своем корабле.

Из-за забора виден трехэтажный дом, здание гимназии. Здесь предполагаются курсы. Открыл калитку Иосиф, увидел зеленый двор и бледно улыбнулся, оттого, что рядом с состарившимися, бурыми, омшенными бревнами, под трепещущей блестящей зеленью тополей стоит канцелярский стол, а за столом Арефьев.

За столом — Арефьев, и, как всегда, спокойно его продолговатое смуглое лицо. Не все ли равно, что кругом — стены, диваны, портьеры, галицийская поляна, сибирская степь, белорусская курная халупа¹ или казацкая пыльная станица?² За столом — Арефьев, — значит, здесь штаб, где-то люди ждут его приказов...

А сбоку связист ведет провод полевого телефона.

— Готово, товарищ Арефьев, можете говорить.

К этим словам связиста поднял Арефьев свои холодные и смелые серые глаза. Чуть удивились они Миндлову, и, пожимая его холодную руку, спросил Арефьев:

— Ты здесь?

— Вот... Прислали в твое распоряжение.

Арефьев читает рапорт Миндлова и резолюцию Розова. Качает головой.

— Что ж... начальство, — и Миндлов кривит рот горькой усмешкой.

Глаза Арефьева теплеют товарищеским сочувствием. Он быстро берет трубку полевого телефона и встает с места.

— Алло! Кабинет начпо... Товарищ Розов? Говорит Арефьев. Относительно Миндлова я к вам. Такой системой вы заездите лучших работников... Да, но я не согласен, считаю, что ему надо дать продолжительный отпуск.

Телефонная трубка стрекочет долго и громко.

— Найдите, — настойчиво и спокойно говорит Арефьев, — во всяком случае я не согласен.

Размеренную речь его прерывает короткий и резко слышный стрекот. Арефьев вынимает руку из кармана и вытягивает ее по шву.

— Слушаюсь, — говорит он и кладет трубку.

¹ Халупа — изба.

² Станица — казачье поселение.

И обращаясь к Миндлову:

— Все, что мог, сделал. Но Розова ты знаешь. Это... Это... Спецы в армии его называли «чортушка», — и в голосе его пробивается некоторое восхищение. — Знаешь, ведь, как он — приказывает. Я тоже хотел в Академию ехать. Однако вышло иначе, — он коротко вздохнул, и в глазах его теплело сочувствие. Но вот глянул он в бумаги, и когда через секунду опять поднял глаза, они были, как всегда, холодны и зорки.

— Ну, сегодня начнут съезжаться. А нет ни помещения, ни кроватей, ни обеда. Придется тебе учполитчасть¹ сейчас же принять. Вот это — схема, или там... план. Возьми ее и развивай дальше.

И он протянул бумажку.

— Вон в том сарае выбери себе стол, поставь его туда, в тень, и работай. Составь также примерный список штата учебной части.

Арефьев склонился над столом. Он забыл уже о том, что Миндлов болен, что сам он только что хлопотал за него. Но приказом курсы уже существуют, хотя нет ни слушателей, ни здания, ни канцелярии, ни лекторов. Ничего нет. Но начкурсов Арефьев есть, он — точка приложения силы, он — составная пружина могучей военной машины, и поэтому надо собирать вокруг себя людей, приказывать им и строить еще одну новую пристройку армейского здания.

Курсы — будут.

Миндлов тоже забыл о своей болезни...

Итак, забрать в руки военной дисциплиной, выбить партизанщину и одновременно ликвидировать малограмотность. С каждым месяцем все больший упор на политпредметы.

Стол качается, корни деревьев мешают, около возятся куры и квохчут, но Миндлов зарыл руку в волосы, а другой быстро пишет:

« $6 \times 8 = 48$... Истмат — 48 часов.
Политэкономия — 40 ч...»

А над столом Арефьева навис длинным туловищем по-нурый учитель и монотонно бубнит свое...

¹ Учполитчасть — учебная политическая часть.

— Вот что, дорогой товарищ! — прерывает его Арефьев. — Вы... вы бросьте со мной заводить тяжбу. Здание это в руках военного ведомства. Вот уже два года, как занятий в школе вы не ведете.

— А музей... гм, гм... Посещаемый экскурсиями и... гм, гм, являющийся некоторым образом, гм, гм... культурным центром края... гм, гм.

— Музей мы перевезем. И... вы бросьте мне глаза отводить. У вас даже объявления не вывешано, когда он открыт.

Арефьев на секунду замолкает, как бы для того, чтобы дать ответить учителю. Но тот медленно двигает губами, точно пережевывает собирающиеся в нем слова возражения. И, не дождавшись, Арефьев говорит, словно нажимает голосом невидимую педаль:

— Товарищ, это будет... так. В двенадцать часов придут... красноармейцы. Они поступают в ваше... распоряжение. Они выносят все ваши... музейные коллекции — туда, куда вы укажете. За сегодня очищена будет... половина помещения.

— Я не могу, — бормочет преподаватель. — Говорите с наробразом... И притом здесь... гм... находится библиотека.

— Библиотека?! Ее перевозить не надо. А с наробразом я буду... говорить уже завтра. Сегодня... слушатели курсов... должны спать... под крышей. В двенадцать придут красноармейцы, и если вы... не хотите... принимать участия... в переноске ваших... музейных ценностей, то мы... перенесем их сами... но можем нарушить... вашу классификацию.

Задребезжал телефон.

— Алло! Готов... Да... Уже. В двенадцать, как условлено... Ну, да, очень хорошо. А в четыре — кровати. Как не дают? Дай мандат, я у них из глотки выдеру. Ну, заеду через час. Всего!

— Опродкомкр? ¹ Имеете мой рапорт с резолюцией командующего? Походную кухню и довольствие для военно-политических курсов!

¹ Опродкомкр — особый продовольственный комитет округа.

Педагог повернулся и понуро пошел к зданию, в запутиненные комнаты, дожидаться красноармейцев.

Секрестарем губкома работать ответственно и хлопотно. А ежели перемещать с одной работы на другую, да еще такого, как Лобичев, напористого и несговора, так чистое наказание.

— Ты, Волжанин, как знаешь. Только я от вас уеду, и придаться вам никак нельзя, потому что я военный и по военной же линии от вас уезжаю...

— Товарищ ты мой дорогой, Лобичев. Это, что ты военный, так дело маленькое... Совмещал же ты посевком¹ с военной работой?.. А теперь мы тебя демобилизуем...

Лобичев усмехается:

— Что ты, Волжанин, прикидываешься дурачком. Посевком — одно, политпросвет — другое. Посевком знаний не требует, а нужно, чтобы человек разбирался в деревенских делах да имел должный нахрап. Для политпросвета же надобно знание, которого у меня нет. Вот почему я еду на курсы.

Смугло-розово скуластое лицо Волжанина. Как будто прост, но у рта, в густой, и цветом и формой похожей на серый дым, бороде, прячется лукавство, и оно же в серых блестящих глазах.

Волжанин — в сюртуке поверх черной рубашки. Лобичев в неперешитом красноармейском. Он по фамилии своей — лобаст, коротконос, лицо брито, нижняя губа твердым зажимом держит жадный хоботок верхней. Сидит Лобичев неподвижно, как гранитный зуб, вылезший на бугре из-под земли, точно говорит: «А, ну, сковырни меня, попробуй».

Волжанин молчит и для маскировки роется в бумагах:

«Вот идол чувашский»... И вспомнилось, как зимой во время профсоюзных дискуссий весь троцкистский губком наскочил на него, одного стоявшего за платформу десяти. Был он моложе всех по годам, стаж его с семнадцатого го-

¹ Посевком — посевная комиссия.

да, крыли его жестоко, и порою нечего ему было отвечать. Но он упрямо вел свое. Работник он ценный, но упрям. И то верно. Пусть едет.

«Ничего-то ты со мной не сделаешь», — внятно думает про себя Лобичев и говорит громко:

— Так-то, товарищ Волжанин. Посевные дела свои сдал я Рогову. С губвоенкомом уже договорено, телеграмма из округа — вот она. Ну, и прощай, и счастливо работать.

Он встает и протягивает руку Волжанину.

— Мы тебя демобилизуем через ЦК, — закидывает Волжанин.

— Ничего-то вы со мной не сделаете, — теперь уже вслух говорит Лобичев и уходит из кабинета.

«Расчет удался, — с хитрой ухмылкой думает он. — С Волжаниным схватывались во время дискуссии, и он, верно, скрыто радуется, что уезжаю... Хитер мужик»...

По широкой, накатанной, но еще непыльной улице шел к себе на квартиру. Весна растопила воздух, и через его туманную и ласковую мягкость шли и запахи лиственного тепла и травяной свежести с желто-зеленых безлесных предгорий, вставших над серыми улицами, и петуший заливиственный крик, рев скотины на далекие посвисты паровозов со станции.

«Сегодня вечером надо уехать. Скорей прийти домой. Скорей уложиться».

Дома перво-наперво вытряхнул из портфеля залежавшиеся там ненужные бумаги, все больше черновики распоряжений да тезисов по посевной кампании. Теперь это только холодная скорлупа уже вышелушенной работы. Лобичев бросил их на пол и в портфель уложил десяток прочитанных книг и тетрадей-конспектов. Укладывал аккуратно и бережно.

Ленин, Энгельс, Плеханов, Каутский, Маркс.

Брошюры в аккуратную стопку и накрест перевязал бечевкой. Передать в гарнизонную библиотеку. Только стиральное белье — в вещевой мешок. Поверх — одеяло с подушкой. Котелок, чайник и мыло — сверху, браунинг в карман.

Теперь написать письмо:

«Село Брынское.

Матушка и Груня!

Я еду учиться. Писать мне погодите до нового адреса. Спасибо за вашу заботу обо мне. Но только не присылайте, потому что вам, верно, хуже, чем мне. Напишите, как засеял, и помогли ли засеять, как семье красноармейца. А приехать не могу, хотя и надо бы. Осенью, может, приеду.

Дяде Трофиму, — зачем он, старый чорт, тебя мутит всякими вредными разговорами? — ты ему покажи письмо, что я его понимаю, как старого чорта. И зачем ты ему веришь? Я его побои, которые испытал в самое детское время, не забыл и не забыл его тиранства к тете Маше и ребятам. Видал и Яшку. Он у нас в гарнизоне и подал в партию. А про старого чорта вспоминает только матюком.

Можешь, матушка, судить, когда родной сын об отце отзывается самым скверным словом, то какая цена словам такого человека? А ты слушаешь его глупые рассказы.

Еще, дядя Трофим, я тебе скажу, что как мы в октябре вашу эсеровскую шайку на заводе разогнали, то не думай, что в деревне уцелеете. Доберемся и выловим.

Яшка говорит, что завод пустили, вернулся бы ты с повинной: по твоей квалификации, как мастера, тебя бы взяли. Лучше, чем баб да мужиков путать.

А Груне — ты замуж не иди, матушку не слушай, поступай по своей воле. Тебе восемнадцать, пойдут ребята да хозяйство, и прощай тогда учебе и вообще жизнь.

А матушка — ты ее не уговаривай. Сама мытарилась с семнадцати и дочке того ж? Я знаю, ты не по злу, а по неразумию.

Но ты, Груша, не слушай. Подожди лета, осенью поедешь ко мне в город. Ты себя цени, что ты свободная гражданка. Что это значит — свободная гражданка? А это значит, что ежели у крестьянки (которую, заметь, не так давно земский начальник мог пороть) есть у нее воля да ум, то ей полный свободный ход к учению и ко всякой работе.

Никогда этого еще на свете не было, чтобы была такая свобода. Это ты все помни. Ты думай об этом. В церкву не ходи, читай книги, которые я послал; верно, на школу или исполком у вас газета идет; ты ходи, читай и понимай, разъясняй и матушке, и другим, от этого сама лучше поймешь...

Еще напишите мне, есть ли в волости Комсомол (это обозначает: коммунистический союз молодежи). Если есть, то напишите, кто известный мне туда входит. И ты, Груня, попросись на их заседания. А замуж — не ходи. Матушку не слушай. Это успеется, когда поучишься, найдешь сама свое дело и, как самостоятельная, сойдешься, с кем захочешь.

Вот мой наказ. Остаюсь ваш сын

Григорий Лобичев».

Кончил и вздохнул. Устал писать, потому что, когда писал, так все рисовалось ярко: и мать, и сестра, и дядя Трофим. Надо было на все это откликнуться. . .

И какое это всегда в деревне неразбери-поймешь.

Все-таки его большое счастье, что двенадцати лет взял его дядя Трофим на завод. Пусть учил он и боем, и криком, пусть десятичасовая работа наливала тело свинцовой усталостью, от которой тупел, пусть была и поножовщина, и пьянство, и много еще плохого, но ведь завод, завод же, сплетший воедино тридцать тысяч рабочих, служащих и инженеров и создавший, пусть жесткий и несправедливый, но все же стройный порядок, в котором каждая машина и человек делали свою работу; ведь этот громкоголосый завод ободрал его, как первый жестокий резец обдирает покрытую дикой окалиной болванку. А в деревне?

Вскинув вещевой мешок на плечи, он взял в руки портфель, окинул прощальным взглядом оставляемую горницу: кровать, кажущую обнаженные доски, стол, с которого снята узорчатая скатертка. Да еще на стене осталась маленькая карточка Ленина. Хозяйка просила оставить. Все-таки недаром о нем ей рассказывал.

Ухмыльнулся, закурил — и вот он уже быстро идет через пустырь, легший промеж города и станции.

«Деревня. . . Разве не она заставила во время посевной кампании еще раз оглянуться на революцию, и разве не этот огляд гонит его сейчас учиться?»

Декрет о продналоге. Завинчено здорово, конечно. Но дальше-то как? Ведь вот совсем недавно Сухаревку разогнали?»

Округ телеграммой вызвал губвоенкома Смирнова. Едет Смирнов в штабном вагоне, покачивается на мягком диване и, пуская колечки дыма, гадает:

«Зачем? Повышение, может, командировка?»

Не хотелось. Совсем не хотелось оставлять удобную квартиру, захваченную после бегства местного богатея-купца, в которой мягкие турецкие диваны, пестрые подушки, дубовая мебель и блестящие зеленой жемчужной лапы каких-то заморских цветов. Взял Смирнов офицерскую жену, впопыхах во время бегства брошенную мужем; своя — приску-

чившая деревенщина в покосившейся избе среднерусской губернии — вместе не жили с двенадцатого года, когда взяли Смирнова в царскую армию. А у офицерши глаза голубого веселого ситчика, капризные и веселые губы, кудряшки на голове всегда плещутся от смеха — губвоенкомшей именует ее теперь городской бабьей толк.

Детей нету — делает губвоенкомша абортыв у лучшего доктора, варит она варенье и печет всякие сласти на «ответственном» масле...

«Хорошо живешь, Николай Иванович, ах, хорошо», — думает Смирнов и щурится в пыльное стекло вагона, мимо которого бегут какие-то пашни и березы.

В прошлом — военная слава, потому уважительное отношение в губкоме. Скучно станет — есть компания, человека четыре теплых ребяток, с ними можно скрыто выпить, разжечь кровь, и время прошлых геройств тогда вспоминается особо легко и приятно.

А жутко было в девятнадцатом, когда белые совсем сжали в кольцо!

Но теперь это отошло. И на завоеванном кровью расположился Николай Иванович, словно как сейчас вот — по тряской ненавистой дороге доехал до спокойной станции, ваял первый класс в скором поезде — спальное место и, убаюкиваемый рессорами и пружинами дивана, катит полным ходом к социализму. Только что сейчас губвоенкомши рядом нет. И так же не хотелось получать новое назначение, как менять купе. Может, в другом еще лучше, но ничего, я уж и в этом доеду.

А приехать в округ все же было приятно. И приятна была даже легкая жуть от того, что ждет его там, за высокой дверью, в кабинете командующего.

Шагал взад и вперед по приемной, позвякивал шпорами, каждый раз при повороте видел себя в зеркале и самодовольно улыбался. Ладного роста, широкий в плечах, на крепкой шее не особенно большая, но по-начальственному посаженная голова, и в небольших зеленовато-серых глазах что-то такое мужественно-военное. Услышал свою фамилию — поправил орден Красного знамени, одернул френч и вошел в кабинет.

Пробыл там недолго. Разводя руками, вышел, в зер-

кале опять увидел себя — но такая растерянная улыбка бродила по лицу, что всердцах плюнул и побежал вниз по лестнице.

Вот так повышение. На курсы учиться. И сообщил это командующий, — словно поздравил с днем ангела. Смирнов от неожиданности так растерялся, что позабыл перечить. И, получив на документе отметку командующего: «Розов, посылаю тебе нашего известного героя т. Смирнова. Ему полезно будет пройти курсы», — Смирнов пошел в пуокр.

Но по пути ярость разобрала во-всю.

— Это что ж, товарищ Розов, а? — спросил он, бухнув на стол документы. — Что я, какой-нибудь сопливый комсомол и меня мало офицерня учила?

Розов, не отвечая, писал резолюцию на его документе.

«Тоже чортушка», — с неприязнью и уважением думал Смирнов, шагая по кабинету и поглядывая искоса на быстрый бег дера в руке Розова.

Кончив писать, Розов через очки внимательно посмотрел на Смирнова.

— По-моему, вы должны радоваться данной вам возможности учиться. Многие просят у меня, и я принужден отказывать. А вы благодаря учению будете более полезны партии.

— Стало быть, я мало пользы принес?

— Нет, но еще более. . .

— Вот! Три года с фронта на фронт! Чуть где плохо, кого туда — Смирнова Николая! Яковлев разложил дивизию — кто дивизию спасает? — товарищ Смирнов. Партизаны убивают политработников — кого командиром корпуса послать — понятно, Николку. Вали на него. Хорошая лошадка — вывезет. А теперь — мало пользы.

— Ваши заслуги останутся при вас. Именно потому партия посылает вас учиться, что рассчитывает, что вы будете еще более полезны, чем ранее. Отправляйтесь в здание бывшей гимназии к начкурсов товарищу Арефьеву.

Смирнов с изумлением и гневом смотрит на Розова. Остановил даже звон шпор.

— Это какой-же Арефьев, Н-ский губвоенком?

— Да.

Смирнов молча прошел по кабинету,

— Так. Офицеру в подчинение. Оч-чень хорошо. Мало того, что всю солдатчину — разнесчастная моя доля — тянулся перед ними — и опять?

— Товарищ Смирнов, он не офицер, а ваш товарищ. Он член партии, и мы его ценим за его знание и заслуги. Вам же надо учиться. Через шесть месяцев вы опять пойдете на работу; берите документы и идите.

По пути в гимназию купил Смирнов газету. Вчера только считал он, что с хозразрухой справимся в два счета, армия у нас — шапками закидаем любую империалистическую державу, и в сумерки в уютной послеобеденной дремоте рядом с военкомшей часто мечтал он, как по телефону из губкома сообщат о начавшейся на Западе революции. Какой тогда парад задаст Николай Иванович Смирнов. . .

— Мать ее так и этак, — бормотал он, просматривая газету.

Все — прахом пошло.

Он ясно увидел, что революция погибает и помочь ей ничем уже нельзя.

Вошел на широкий двор курсов. Один стол пуст, за другим — Миндлов.

— Вот учиться к вам прислали, товарищ Миндлов. . . — медово-ехидным голосом сказал он. — Где прикажете поместиться?

Взгляд Миндлова затуманен программой курсов.

— А. . . здравствуйте. Вы, значит, первый. Пока подождите здесь, на дворе. К вечеру комнаты вымоют, и вы поставите себе койку.

— Так-с. Очень хорошо-с. Во дворе? Что же, можно и во дворе.

И, прерывисто дыша от подступающего к горлу бешенства, Смирнов сел на бревна, на самый солнцепек, как бы поджаривая свою сосредоточенную ярость.

Засаленный и мятый, как совзнак,¹ бродяжка донес зеленый сундучок до ворот курсов. Отблагодарил его Ко-

¹ Совзнак — денежный советский знак, периода военного коммунизма и начала нэпа, до введения твердой валюты («червонцы»).

попов засаженным и мятым совзником, удивился бродяжка большому совзнаку и исчез бесшумно.

Поморщился Кононов, приподняв левой рукой сундучок — правый пустой рукав нехорошо заткнут за пояс.

На зеленом дворе курсов оживленно сновали тусклые защитные френчи и травянисто-темные военные гимнастерки. Болезненное, длинное лицо у Кононова, его желтые щеки в темных точках, точно металл на всю жизнь въелся в кожу. Он очень тих и неприметен в своей серой шинели и в зеленой кепке с маленькой, побуревшей, когда-то красной ленточкой. Отметившись у стола Миндлова, он расписался неловко левой рукой и прошелся по двору. Знакомых не было видно. Во время гражданской был он в другой армии, а когда перебросили в этот округ, то работал комиссаром полка в дальнем глухом уезде.

А на зеленом дворе то и дело вспыхивают встречи соседей по полкам, бригадам и дивизиям, участников армейских съездов, одних и тех же боевых операций, товарищей по борьбе с белыми. Ходит Кононов, покуривает. Неловко левой рукой держать папиросу. За год не привык еще обходиться без правой. Слушает разговоры, порой улыбнется, а порой нахмурится. Рассматривает лица, точно читает на них. Под мягким и ласковым светом нежаркого майского солнца, движения морщин, блеск глаз и улыбки внятно говорят о мыслях и чувствах, пожалуй-что, правдивей слов.

Самая большая и шумная куча на брезнах. Подошел туда Кононов, и в одно время с ним вновь приехавший — коренастый, крепкоскулый, лобастый, нос коротким воробьиным клювом, — тоже поздоровался, приложив руку к кепке. Однорукого никто не заметил, подошел он тихо и сзади, а этого крепыша заметили сразу, говор замолк, несколько пар глаз с интересом рассматривают его. А он скинул с плеч вещевой мешок и рядом с ним завалился на теплую землю. Около, сидя на земле, переобувался белоголовый комиссар. От потной ноги поднял он пухлое и бледное лицо. Пристально вглядываясь друг в друга, враз протянули руки.

— Второй дивизии? — тонко спросил переобувавшийся.

— Мгм... Вы в нашем опродкомдиве¹ служили. Ваша фамилия?

¹ Опродкомдив — особая продовольственная комиссия дивизии.

— Помадочкин. А вы будете Лобичев из третьей бригады?

— Мгм...

— Что ж, учиться, стало быть? — спросил сидевший на бревнах и прислушивавшийся к разговору Смирнов. Ворот у него растегнут, глаза возбужденно и зло блестят. — Колчака били — неучены были хороши, а теперь плохи стали.

— И практически и теоретически рассуждая, пуокр неверные действия начинает, — тонко сказал перебывавшийся.

Сразу зашумели все, раздраженно, гневно и жалобно. Большой человек, с орденом Красного знамени на вылинявшей от частой стирки, избела чуть зеленой гимнастерке, покачал круглой головой и, нагнувшись, поднял с земли большую щепу. Его поросшее щетиной и, выпуклыми, блестящими глазами напоминало морду доброго и настороженного лося. Продолжая слушать разговор и неодобрительно покачивать головой, он не спеша вынул из поместительного кармана финский нож и стал быстро и ловко строгать щепку.

Однорукий, с удовольствием рассматривая его, не переставал однако слушать разговор.

— ...Задумано ловко, что и говорить. Курсы! Нет, товарищи, не курсами здесь пахнет, просто хотят в какую-то дальнюю окраину перекинуть. К примеру, в Туркестан. Так им трудней, — каждого вытягивай, а обманом легче.

Однорукий быстро повернулся на эти змеиные слова. Не любил однорукий спорить, но сейчас готов был вмешаться; однако большой человек отложил недоструганную вещь, окинул говорившего сине-серым, темным, совсем еще молодым взглядом и спросил тихим и как бы ласковым голосом:

— Задержись, друг... Кому это — им?

Говоривший действительно задержался. Было у него черствое лицо, черные жесткие усики и скрытные глаза. Кононов не сводил с него глаз... Кого-то напоминает этот рот, прямая тонкогубая щель, лишаящая лицо человеческого выражения, что-то старое, ненавистное. Да, такой рот был у исправника. Это после забастовки... прошедшие мо-

лодые годы. Да, такое же движение губ. Но тот был рыжий.

— Вы об чем это, товарищ Шалавин?

— Да вы вот сказали: им труднее вызвать, а обмануть легче. Кому это им?

— Кому — да верхам, вот одним словом.

— Так. А вы сами словно бы комиссарили полком?

— Да, но...

— Задержись. Скажи по чистой совести, в полку верхом называли? Только, чтоб по чистой совести...

Спрашивая, Шалавин легко поднялся на ноги. Он казался бы тучным, если бы не ширина плеч, стройность ног и не высокий рост.

— Осмотрительней надо, товарищ... И меньше болтовни и бабьих сплеток, вот как насчет Туркестана. За такие побаски я на фронте расстреливал, а в тылу арестовывал. Надо строго соблюдать свой язык.

— Да ты сам посуди, Дмитрий Лукич, — глядя снизу вверх, сказал Смирнов. — Ведь срам смотреть... Ну, взять тебя, человек ты пожилой, почтенный, заслуженный... Кто в армии Шалавина не знает... Или же меня. — Он скромно откашлялся. — И вот снимают, ущерб работе, заместители не соответствуют. Ну, и является мысль, вроде как у Дегтярева, что нет ли тут маскировки?

— Опять же везде беспорядок... Собрали, как на пожар, а ничего не готово. Курсы, курсы... А где спать-то будем?

Помадочкин обращался к Лобичеву. Бесцветные глаза его тонули в припухлых впадинах и из-за широких скул поглядывали хитро и бойко, как лавочники из-за прилавков.

Лобичев отвел от него взгляд, потому что было неприятно смотреть на это хитрое, вьедливое лицо. Сам подумал, что верно, получилась неувязка, собрали, как на пожар, а ничего не готово. Но соглашаться с Помадочкиным не хотелось и он возразил ему насмешливо и резко:

— Где спать? А где сидишь. Может, тебе постелю постелить, да барыню положить?

— Все-таки ж, надо войти в положение. На фронте страдали...

Лобичев подумал о том, что комиссар опродкомдива на фронте, верно, и не бывал, и спать в луже, которую подергивает пленка льда, ему едва ли приходилось. Но неохота было дальше ругаться и, повернувшись круто спиной к Помадочкину, он как бы ответил этим.

Разговор потух. Смирнов, Дегтярев, Помадочкин чувствовали, что Лобичев и Шалавин заряжены другим. Говорить с ними не хотелось, и кучка распалась. Последним ушел однорукий — курить и раздумывать о случившемся разговоре и о людях, споривших между собою.

Лобичев, прищурившись, в полудремоте следил за жизнью двора. Калитка поминутно хлопала, и прибывали все новые комиссары... Красноармейцы с веселым грохотом таскали из здания какие-то ящики. Ворота отворили. Стройный смуглый человек, в шлеме, вынул подворотню. На заросшие травой камни въезда лошаденка втянула походную кухню. Дальше шла подвода с провиантом.

— Глянь-ка! — сказал Шалавин и протянул Лобичеву грубо, но крепко выструганную ложку. — Вот, друг, нашей работы. Чисто, как из машины. А?

Лобичев посмотрел в синие глаза Шалавина. Они искрились наивным и веселым самодовольством. Лобичеву стало приятно, и он улыбнулся.

А Шалавин словоохотливо рассказывал, что эти ложки научился он делать, когда был в лесорубках на быстрых сплавных речках, текущих с хребта.

— Громов!

— Гриша! Васильев!

— Вот это да! Хо-хо!

Поцеловались. И потом во время крепкого и долгого рукопожатия бегло оглядывали друг друга, и радость свидания мешала заметить перемены. Не видались с восемнадцатого, когда один московский завод послал их обоих на хребт для того, чтоб откаленная рабочая воля выправила дыбавшиеся крестьянские полки.

На комиссарскую работу вышли в разных дивизиях, и вот откровенный Васильев уже рассказывает то, о чем болит его сердце, рассказывает о своей работе комиссаром полка; звонок и чист его московский широкий разговор.

— В полку считай две тысячи. Все крестьяне. Коммунистов по пальцам — десять... Да и коммунисты-то еще крестов не снимали — таят... Лесной народ... Учить их надо, верно? А места глухие. С—ский завод. Партейцы-то не грамотней меня... Я так радовался, когда сняли... верно.

Говорил, что радовался — и это была правда. Но, кроме того, было другое, о чем не говорил. Жалко все-таки было отдавать в чужие руки какую ни есть, пусть с ошибками, но свою работу. И эта жалость сказывалась в голосе, она стояла за словами и бросала на них свою темную тень.

Громов молчал. Васильев ждал его слов, и когда молчание его протянулось и стало заметным, точно перешло в какую-то грань, почувствовал Васильев, что этим молчанием Громов точно спорит с ним. Оглядел он лицо товарища. Оно большое, все в крупных рябинах. Точно налито оно темной тяжелой силой, и тянет эта сила вперед лицо и голову. И, еще помолчав, сказал Громов:

— А я смотрю, извелся ты, Гриша, на этом деле. Тебе бы подлечиться.

— Не выходит, — вздохнул Васильев. — Надо бы, да не выходит. У меня ранение здесь, чуть пониже сердца прошла... а то бы в момент... сверху глядеть — ничего, цельный, а внутри надтреснут.

Он чуть сутулит свой стройный и тонкий, как лозина, стан, его ласковая и точно извиняющаяся улыбка красит белое лицо, и на щеках расцветают пятна багрового румянца. Но глаза его серые вглядываются зорко, еще лицо не отсмеялось, а уже отвердел взгляд, и опять с умным интересом осматривает он Громова.

— На кумыс бы тебе надо... У меня там... — и Громов махнул на юг, — инжбат¹ мой в Степном уезде, целое лето простояли. Ряшки — вот нагуляли.

— Не выйдет. Учиться надо. А после учения возьму, стало быть, отпуск и... в Москву мечтаю съездить...

У Громова лицо еще больше потяжелело, и он опустил его еще ниже.

— Ездил я о прошлую осень, — сказал он глухо. —

¹ Инжбат — инженерный батальон. (Примеч. авт.)

Ничего там хорошего нету, на заводе верховодят спецы. Наши товарищи — очень на бюрократизм поддались. Взять хоть Костюку Коновалова. Сейчас он — вишь ты — директор: на машине ездит. Пошел к нему на дом, у него гардеробы, зеркала. Свою старую жену и детей бросил и променял на конторскую б... Опять же работа идет слабо, один только близир¹, что работают... Лениво это все так идет. Думал я в Москве легче, все у властей под глазами, а выходит одно... — Замолчал, точно спохватился, и скучно отвел глаза.

Васильев жадно слушал. Скучные слова Громова о заводе ярко воскресили знакомое: лязг железа, желтые теплые огоньки электрических лампочек над станками, безостановочные взмахи маховика и такой же безостановочный бег трансмиссий² и ремней. И горячие митинги в цехе среди замолкших машин, и то, когда слушаешь речь врага-меньшевика и жмешь кулаки и оглядываешь лица товарищей — живо все это почувствовал Васильев. То, что говорил Громов, верно, было плохо, но слова эти точно звали туда, на борьбу... Эх — быть бы там!

Но действительность — вот она в говоре и шуме зеленого двора, в грохоте перетаскиваемых ящиков, в дымке, который аппетитно потянул из трубы походной кухни. И Громов Захар, кузнец, сейчас стоит перед ним, бессильно опустив свои тяжелые, с надувшимися жилами, руки.

И Васильев спросил осторожно и ласково:

— Ты что ж, разочаровался?

Громов тяжело и медленно повел головой, потом вдруг первый раз за все время разговора поднял ее и показал глаза, налитые тусклой тоской.

— Эх, Гриша! — сказал он с силой. — Отчего мы все делаем так лениво? Отчего у нас коммунист такой неосознательный и не работает он без кнута? А как много несправедливого! И как все не есть такое, как надо! И почему бы не навалиться нам всем разом, как в Октябре, всей громадой пролетарской, ведь все бы переделали! Но нет, раньше

¹ Близир — видимость.

² Трансмиссия — механизм, передающий энергию от двигателя к машинам.

наши вожди вели нас напрямик, а теперь хотят лукавствовать, но это бесполезно, Гриша: мошенничество только мошенничество сделаешь.

Он передохнул, точно поддул еще горно, и румянец вспыхнул на его щеках, как яркое пламя в углях. Он как бы искал слов и не находил, искал слов, чтоб выразить эту мысль, которую вот уже несколько месяцев носил в себе, мысль простую и никак не выразимую, что готов он свою жизнь, как полено, бросить в огонь революции, лишь бы горел он дальше. Но никто не берет его жизни, и ему казалось поэтому, что революция потухает. Искал он слов сказать об этом, но не нашел. И вот как бы спал вспыхнувший в нем пламень, и когда нашел он слова, то были это другие слова, гаснущие и горькие, как угли в выстывающем горне.

— Правды я не вижу — главное, подлы люди. И коммунисты большинство не лучше других. А нам, Гриша, семнадцатого года коммунистам, конец пришел. Пока мы были на фронтах — гимназисты отовсюду поналезли и теперь ведут нас к старому ярму. Эх... — и он длинно выругался, и было его ругательство как плевок чахоточного шахтера, вместе с мокротой и больной кровью своего организма выхаркивающего бурую угольную пыль.

Васильев начал было возражать, но Громов прервал его и круто перевел разговор:

— Я стариков твоих видел, о тебе спрашивали, но я им ничего подробного рассказать не мог. Писем они от тебя давно не имели. Ну, matka твоя, как полагается, всплакнула. Но старик — орлом. Все выпрашивает, как, мол, белше, какие у них порядки. Ужасный он защитник советов, но пьет попрежнему...

— Где он, дьявол достает? — спросил, посмеиваясь, Васильев. — А в письме пишет — так сознательный, ничего и не подумаешь...

— И мишку твою видел, — с лукавым смешком сказал Громов, — помнишь, как ехали на фронт, ты ей все письма розовые опускал в каждый ящик. Теперь, верно, не пишешь?

— Нет, я женился, взял учительницу нашу из пол-

ка, — сказал он с некоторым самодовольством. — Ну, а она то что? Верно, тоже — замуж вышла?

— Как я там был, так сватал ее подмастер. . .

— Это какой же, Архипов?

— Не . . . Новый. Из Питера приехал. Ничего, парень толковый, хвалят его.

— Ну, ну. . .

И начался приятный разговор о заводской жизни, о гулянках, на которых веселились вместе, о девушках и ребятах, и приятно было ворошить тот запутанный клубок человеческих жизней, который всегда наматывает вокруг себя неостановочная работа быстрых заводских машин.

Бывает так, усталый боец не может подняться с отдыха, стонут ступни, ломит колени. . . Встать невозможно.

Но в ротах бьют барабаны, вокруг снимают палатки, и гарный дым ползет по траве от гаснущих, залитых водой костров, и звонок приказ командира.

Встать — надо.

И встаешь, и заворачиваешь ногу в обмотку, и берешь винтовку, и идешь дальше. Длится поход, размяты опухшие ступни, идешь уже в ногу — мурлычешь беззаботно-печальную армейскую песню. Так — Миндлов. Казалось ему, упадет в первый час, а вот миновал уже день, первый день работы, и только к полночи, сдав готовую программу и по поводу нее наспорившись с Арефьевым, вышел он на двор. Ветер шел по вершинам тополей, они непрерывно радостно шелестели, а внизу, в жаркой синей темноте — огоньки папирос, смех шутки и говор.

Миндлов сел на скамью, в теле его дрожит каждый перемучившийся нерв, но уже слушает он разговоры. Их много и о разном. Кто об урожае, кто о прошлой работе, кто о бабах, но Миндлов слушает только чей-то твердый, привыкший к собраниям голос, как он с прорывающей ласковой насмешкой объясняет:

— И как это у тебя, товарищ Коваль, все быстро. А ты возьми хотя бы инструмент: ведь он разный, для выделки одной вещи. Ну вот ты столяр, и вот ты работаешь. Сначала ты топором рубишь, обчищаешь. Потом топор отло-

жил, отмерял, до миллиметра точно, отпилил. Видишь, пила — уже другой инструмент. Потом и пилу отложил, рубанком прошел, потом опять отмерь, разотчи. А потом уже самая тонкость — и стамеска, и долото, и все примеряй, отсчитывай. Так и здесь. Сначала рубили топором, и надо было так. Крой покрепче и поглубже, чтобы щепки летели. А теперь топор отложи — возьми более тонкий инструмент, потому что дело от войны перешло к хозяйству. От войны к хозяйству.

Спокойную речь его прервал быстрый украинский говор:

— Э, товарищ Лобичев, ты не свертай, я на это не спорю, что к хозяйству, но ты сам же трудовой армии... Вот и выходит...

— Что ничего из трудовой армии не выходит, — вставил слово со стороны дребезжащий старческий голос, и Миндлов узнал знакомого ему по армии комиссара эвакуационного пункта,¹ старого партийца Злыднева.

— Что ты, трудовая да трудовая! Трудовой — дров на рубить, пути очистить, зерно нагрузить — это можно, но металлургического завода военной силой не пустить.

— Правильно! — поддержал Лобичев. — Опять же ты о мужике не забывай. Если бы не он, дак мы бы э-эх куда шагнули! Зачем нам придумывать себе фантазии? Вот когда восстание подавляли — так у них обозначался лозунг:

«Да здравствует Ленин и свободная торговля».

В кучке, слушавшей разговор, засмеялись, заговорили.

— Это ихняя глупость и темнота, — сказал писклявый и медово-сладкий голос Помадочкина.

— Неверно, — повернул Лобичев в его сторону свой крепкий голос. — Его хозяйство без рынка не может... И вот товарищ Ленин сказал, что мы должны брать его хозяйство таким, какое оно есть, т. е. мелкохозяйским, и изменить его можно не тем, что кричать ему: ты, мол, кулак, — а тем, чтобы вводить коллективное начало, артель и общественную запашку, опять же и сельские машины.

¹ Эвакуационный пункт — орган, ведающий переводом (переселением) учреждений, беженцев и т. д. из одного района в другой (во время империалистической и гражданской войн).

Разговор пошел дальше. Коваль — о мужиках — рассыпал целую кучу бродяжних прибауток.

Против этого Гладких — комиссар полка — запротестовал, по-сибирски крепко накатывая слова.

Дребезжащий голос Замыднева вставил что-то о профсоюзной дискуссии и Лобичев опять заговорил, ухватившись за эти еще не остывшие слова о «сращивании» и «перетряхивании».

Все, что он говорил, было знакомо Миндлову, но слушать было очень приятно. Все знакомые Миндлову общеполитические фразы наполнял Лобичев чем-то своим, очень ярким и жизненным, и легко перекидывал мостик между своим опытом и словами вождей. Миндлов любил сам митинговать и пропагандировать, но делал он это с некоторой болезненной страстностью. Ему митинг, доклад или лекция заменяли табак и вино, и, кончив говорить, он всегда испытывал истомное изнеможение. У Лобичева он слышал другое: спокойствие и крепость. Для Лобичева с кем-то митинговать, кого-то пропагандировать, очевидно, стало такой же здоровой потребностью, как есть, пить и спать. Потому-то, слушая этот спокойный крепкий голос, этот местный говор, превращавший мягкие звуки в твердые, как холодный ветер превращает воду в лед, Миндлов чувствовал приятную бодрость, и ему захотелось посмотреть на этого человека.

Он привычно поправил пенсне, ближе подошел к кучке и увидел круглую голову, ошетилившиеся, как у ежа, волосы, бритые твердые губы и нос — коротким воробьиным клювом.

Одновременно к кучке подошли еще несколько человек. Они как бы разбавили ее состав, вместе с хохлом, они влили в разговор веселые шутки, ласковую брань. . .

Лобичев больше не говорил; засунув руки в карманы, посмеиваясь, слушал веселые слова. Миндлов позвал его в сторону:

— Вот, товарищ Лобичев, какая штука. Приехали-то вы учиться, а я, пожалуй, заставлю вас учить. Должны у нас в группах, на которые будут разбиты слушатели, быть руководители, тоже слушатели, они будут объяснять непонятное, прорабатывать. . . Вы как?

Лобичев помолчал:

— Да что ж, и против не стану. Когда сам учишь, дак это лучшее ученье.

— А чувствуете себя в силах?

Опять помолчал Лобичев, дымил цигаркой.

— Трудно мне будет, это верно. Но с десятком книжек я прочел, и их я знаю. Достанете лучшего — хорошо. А как я народ уже посмотрел, дак считаю, что не достанете.

— Итак, с вами договорились до конца. Верно?

— Верно.

Миндлов ушел. Оставшись один, Лобичев присел на скамью. Табачным дымком глушил вечерний голод, поднимавшийся из глубины желудка. Голова, наработавшаяся за день, вяло перебирала простые мысли о том, что обед был голодный, что ежели такие обеды, то трудно будет учиться, и что надо идти спать.

Но очень уж радостна и приветлива была майская ночь, быстрым бегом темных облаков прикрывавшая и вновь открывавшая немногие звезды; шелестом тополей и медовым запахом их цвета будила она в глуби существа чуть ощутимую, как начинающийся голод, тоску.

Незадолго до революции, когда был Лобичев еще угрюмым шестнадцатилетним парнишкой, затянули его взрослые ребята к проституткам. Еще не развилось тогда у него чувство к женщине, и после всего — испытывал он только липкое омерзение и тошноту. Может быть, это прошло бы, и он бы так же пристрастился к женщине, как за два года до этого — к табаку, но ему не повезло, и на первый же раз поймал он триппер, жестоко мучивший его до лета семнадцатого года.

А тут еще революция, которой он сразу отдал все силы своего существа. Позорная и мучительная болезнь, воспоминания стыдных подробностей, еще не нужных его телу действий загрязнили любовное чувство. Всю революцию и гражданскую войну прожил Лобичев без женщины.

Но было ему уже двадцать один год, и, не смотря на то, что полные тяжелых лишений годы, казалось, должны были подточить его здоровье, тело его зрело, и начала развиваться изуродованная почка пола. Как когда-то, в первом смутном отрочестве, опять тянуло к женщине, он насто-

раживался, слыша их голоса, и помимо воли отмечал движения тела.

Папироса потухла. Надо идти спать. Но день точно не кончен, точно еще что-то он должен был дать и не дал.



Миндалов быстро скинул запыленное платье. В общежитии резерва¹ округа, где он временно поместился, никогда не было, всех высосав майский вечер; он не давал спать и в открытые окна звал трепетанием лунных теней и непрерывным шелестом листьев. Миндалов, в дреме, поминутно прерываемой дрожью, слушал звучащие за окнами любовные голоса мужчин и женщин. И дрожало в нем воспоминание о радостях, пережитых с Лией, он вспоминал линию ее лица и любимый им нежный подбородок, мягко сбегающий в шею, и биение синей жилки на ее виске; но что-то затмевало ее — да, это то, что сегодня, нет, не сегодня, — это Розов.

И полусонная мысль Иосифа опять попала в эту крепко проторенную колею, побежала по ней легко и четко и, как много раз раньше, уперлась в непреодолимое черное непонимание того, что произошло, и — в который раз — напряглась, чтоб понять — как же это, как коммунист мог так действовать? И вот с громадным усилием, от которого стыли руки и ноги, покинутые прихлынувшей к голове кровью, он по мельчайшим частицам собирал воедино отдельные, давным давно отмеченные и потом забытые черты Розова. Вдруг его кто-то позвал; или это на улице? Он поднял голову и увидел в темноте чернобровое лицо Розова, наклонившееся к нему. Да, это он. Что он, сидит на соседней кровати? Да, вот мутное очертание его фигуры.

Иосиф не был удивлен появлением Розова, точно тот должен был появиться и должен был невнятно говорить о рапорте и о случившемся. Иосифу неприятно было его слушать, и он спросил раздраженно и хрипло:

— Что ты от меня хочешь, ну? Зачем ты пришел? Говори и уходи.

Розов неотступно смотрел, губы его двигались, и он продолжал шептать.

¹ Резерв — запас.

— ... Иосиф, Иосиф, работа. Работа — это горение. Из физики известно: это горение, кто-то должен гореть. Так на курсах должен гореть ты. Ты понимаешь, Иосиф?

Да, Иосиф понимал. Он ясно видел даже страницу учебника физики, где нарисованная рука держит колбу. Мысль, мучительно бившаяся о темную преграду, казалось, нашла путь и, разбрасывая кровавые искры, резала мозг и с болью шла вперед. Иосиф начинал понимать и Розова, и себя.

— ... Да, Иосиф, гореть. И тебе предстоит сгореть на курсах, перелить в них всю свою жизнь без остатка, чтобы они жили. Разве может быть большее счастье для большевика, Иосиф?

— Да... — сказал Иосиф, приподнявшись и жадно всматриваясь в лицо Розова и в просвечивающее сквозь это лицо окно и ветви тополей. — Да, Ефим, я понимаю, это так.

— ... В древности, чтоб город стоял крепко, под городские стены зарывали живого человека — ты об этом читал еще студентом в Питере.

— Помню, Ефим, я забыл название книги, но это я помню и вспоминаю часто. И вот мне предстоит быть зарытым.

Опять заговорил Розов. Миндлов опустился на подушку и, закрыв глаза, слушал. Мысль Розова текла ярко и сильно, точно обнаженная от обычной шелухи слов, и точно это не были слова, а только мысли Миндлова, нашедшие свою новую, ослепительно яркую дорогу.

— Товарищ Миндлов, — сказал вдруг голос, показавшийся Иосифу страшно грубым и осязаемым.

Иосиф открыл глаза. Розова не было, на соседней кровати снимал сапоги сосед.

— Вы что-то очень уж со сна говорили. Очень уж тревожно.

— А... а товарищ Розов?

— Что Розов?

— Он давно ушел?

— А разве он здесь был?

— Конечно, только что.

— Значит, он до меня ушел, я его не встретил.

— Да, он, значит, ушел до вас, — ответила Миндлов.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Четвертый день Арефьев строит курсы.

Его ровную и легкую поступь, его деловой холодный облик знали уже и продком,¹ и комхоз,² и снабокр.³ Дни уходят без остатка. Да и в ночи, когда синий прохладный сон без видений оведал спокойную голову Арефьева, все же где-то в далеком углу дремлющего мозга шла приглушенная работа, и по утрам, открывая глаза, сразу ощущал он в себе отчетливый план и приказ на целый день.

Но вот из классов вынесены запыленные парты, вымыт пол, и поставлены в воинском чинном порядке — по четыре — одинокие койки и столики. Веселые печники вмазали котлы в заброшенной кухне, а в одноэтажном домике во дворе, где раньше жил директор гимназии, разбил Арефьев канцелярию курсов, поселил там штат и поселился сам.

И сейчас, на пятое утро, Арефьев, пробужденный роковым барабана, бывшего утреннюю зорю, встал не сразу. Он лежал опрятный, длинный, в чистом белье, без следов сна на лице, заложив руки за голову, и мысли спокойно, как роты солдат, шли одна за другой, и он чуть заметно, неосознанно улыбался их стройному прохождению.

Сегодня впервые Арефьев почувствовал, что курсы уже есть, что комиссары, съехавшиеся со всего округа; красное здание гимназии; койки, изрезанные парты; начканец Лакрицын, спутник с германской войны; военный писарь, красноречивый проныра, волею и руководством Арефьева кандидат РКП; сутулые конторщики из окончивших гимназию никому не нужных молодых людей; начхоз на любой случай, кривящий желто-розовое, как несвежее свиное сало, лицо; походная кухня; повар-австриец; каптерка, в которой завелся рыжий каптенармус⁴; обтрепанный Миндлов со своими книгами и программами; начстрой,⁵ звонкий голос которого сейчас доносится с двора. — все это сшито и пригнано одно к одному могучей волей и крепкой рукой Арефьева.

¹ Продком — продовольственный комиссар (комиссия).

² Комхоз — коммунальное хозяйство.

³ Снабокр — отдел снабжения округа. (Примеч. авт.)

⁴ Каптенармус — зав. цейхгаузом (военным складом), где хранится обмундирование.

⁵ Начстрой — начальник строевой части.

сва, и все это называется — «Окружные шестимесячные курсы для политсостава Красной армии».

Утих барабан за окном, и, ранее приглушенный им, лезет в уши нестройный многоголосый шум, прорезаемый пронзительно звонким голосом начстра:

— Стано-и-и-сь! Второй взвод! Пре-екратить хождение, товарищи!

Сегодня начались строевые занятия. И Арефьев настороженно прислушивался к этим звукам, как шофер, после долгой возни пустивший мотор,¹ с удовольствием слушая его могучий клекот, все же настороженно ловит изменчивые колебания ритма, и раньше чем положить спокойные пальцы на холодный круг руля и дать машине осторожную малую скорость, — он долго еще регулирует ее до тех пор, пока мотор не польет ровный, как прошив пулемета, токот.

Да, мотор еще не отрегулирован. Надо встать и самому пустить строевые занятия.

Перед тем, как выйти, оглядел свою чистую, как келья, комнату, несмотря на мебель, кажущуюся пустой... Наднях приедет жена Наташа и наполнит комнату привычным теплым запахом духов, обычными радостями и ссорами. Но о ссорах — не хочется думать, а вот радости — приятно после работы слушать лепет ее о предметах, для него мелких и незначительных, и, не понимая слов, созерцать движения ее крупного, созревшего, много лет любимого тела, и в этом находить отдых.

Но разговоры о пайке, о том, что... ты ответственный — и все можешь, но не хочешь заботиться... он поморщился и вышел в свежесть весеннего утра.

На зеленом дворе строилась, и вот уже полчаса не могла построиться, разноголосая шеренга. Правофланговые, большие и рослые люди, были спокойней и дисциплинированней. и взводный первого взвода, громадный, бело-розовый латыш, немного болезненный, как большинство чересчур рослых людей, поставив свой взвод по ранжиру,¹ встал рядом со своим правофланговым Шалавиным, рослое тело которого казалось невысоким рядом с громадным костяком латыша.

¹ Ранжир — построение солдат по росту в шеренгу (по одной линии).

Второй и третий становились плохо, и звонкий, подогнанный к команде, голос начстра все время направлялся туда. Но вот на дворе показался Арефьев. По росту пригнан красноармейский костюм и обмотки ровной спиралью обнимают ногу. Похоже, что эта одежда — точно часть его самого; видно, что ему в ней свободно и легко, как ни в какой иной. Был он молчаливым призывом к воинскому порядку, и шум заметно стал утихать.

Несмотря на старания начстра и взводных, строй был изогнут в середине и, как лук, загибался к концам. Френчи и гимнастерки всех цветов и оттенков, у одних совсем не стянутые поясами, у других перекрещенные с плеча ремешками. Солдатская фуражка, красноармейские шлемы всех цветов и фасонов, лихая кепка, бархатный пирожок летчика, трепанная матросская бескозырка — все это придавало шеренге диковинный вид и заставляло Арефьева мучительно морщиться. Так морщится музыкант, услышав пронзительно неверную ноту.

Арефьев подался вперед.

— Внимание-е-е... — залился начстрой. — Равнение на среди-и-и-ну.

— Здравствуйте, товарищи!

Ответили недружно. Кто по-старорежимному — рявкнул: «Здравжелаем», кто отчеканил по-советски: «Здравствуй-те».

Большинство же промолчало, с недоумением и болью почувствовав себя в строю. Арефьев еще раз оглядел строй. Двести глаз смотрели на него и ждали его слов. Сто человек стояли — один к одному — вытянув руки вдоль тела, и этим безмолвно отдавали себя в его руки. Это знакомое за долгую военную работу, много раз испытанное ощущение вспыхнуло в нем с яркой силой, и весь мир осветила горделивая радость. И то, что сейчас перед ним стояли не рядовые красноармейцы, а цвет политсостава округа, придавало ему обуздывающее, ровное ощущение ответственности каждого слова и действия.

— Товарищи, раньше чем вы начнете строевые занятия, выслушайте несколько слов, которые я хочу вам сказать. Вы все время находились на ответственных постах армии, сами командовали, и многими поэтому командировка на

курсы рассматривается как обида... Но то, как вы не уместе встать в строй, является для вас примером необходимости учебы. Дело ли это, товарищи, когда на строевые занятия выходят в сбруе и с наганами? А вон товарищ Смирнов так даже шапку надел. Мы знаем, она знак заслуги перед революцией. Но в строй ее брать нельзя, потому что у нас не ночной сбор комроты,¹ когда каждый хватает какое попало оружие. У нас строевые занятия дисциплинированной части.

Мой приказ: сейчас же, немедленно — снять сбрую и оружие.

Арефьев замолчал и ждал распорядительной команды начстроя. Но тот растерялся. Стройный, затянутый в талию, похожий на тех примерных солдат, каких рисовали для показа формы в царском строевом уставе; и такие же у него, точно прилипшие к розовому миловидному лицу, черные усики; он то глядел на Арефьева, то на строй. Он не ожидал, что Арефьев так круто натянет вожжи, и сам еще не освоился с ролью командира над этими комиссарами, в ежовых рукавицах которых был он всю гражданскую войну. И он, приструненный военспец, оробел перед этими нахрапистыми и крепкими ребятами.

Строй молчал. Двести глаз смотрели на Арефьева, и, хоть недвижны были лица, знал Арефьев, что в каждом, в одном еле заметно, в другом больше и больше, шевелятся обида и сопротивление его приказу. Это сопротивление с каждой минутой точно поднималось все выше и выше. Оформлялось и вот вылилось — в крепкий, хриплый басок Смирнова:

— Это как же понимать, товарищ Арефьев? Выходит, вы нас разжаловали от наших званий и заслуг?

— Не разговаривать в строю! — запоздало закричал начстрой.

— Товарищ Смирнов, три шага вперед, — скомандовал коротко, весь внутренне напрягшийся пружиной, Арефьев.

Смирнов пошевелился и опять застыл на месте.

«Не выйдет? Нет, должен выйти. Должен».

¹ Комрота — коммунистическая рота.

«Это мне — командовать? А я — не выйду? Как же не выйти? Ведь команда была. Но обида-то какая». . .

Крепит Арефьева и ослабляет Смирнова одна и та же сила, частицами которой они оба являются.

Но Арефьев наливается тяжестью, как сжимающийся для удара кулак, потому что знает он, что его приказ идет от лица этой силы. Смирнов же — наоборот. Чувствует он, что если послушается, то эта сила, частью которой он был, теперь обрушится на него и его уничтожит. Опять пошевелился Смирнов, подумал — и тяжело, с нарочитой развалкой, двинулся вперед и поставил себя дерзко перед Арефьевым. Жидким солнцем налился золотой темляк его шашки, и на груди алеет пышный бант Красного знамени.

— Только в уважение ваших заслуг не отправляю я вас на губу, товарищ Смирнов. А надо б отправить за нарушение устава. Но всякого. . . кто такое. . . повторит. . . я немедленно арестую. Вас же я вывел из строя, чтобы вы могли говорить, не нарушая устава. Что вы хотели сказать?

Смирнов откашлялся и заговорил. Он заговорил о своих заслугах и заслугах товарищей, о том, что. . . это вертается к старому режиму, о том, что он знает строй, и все товарищи, заслуженные на фронтах. . . Сами, небось, учили красноармейцев. Но говорил он с запинками и неуверенной хрипотцой. Слова эти предназначались не для Арефьева, а для товарищей, но их лиц он не видел, стоял к ним спиной, под внимательным и спокойным, как луч прожектора, взглядом Арефьева. Он чувствовал, что, подчинившись команде, он сдал и был бит. Сокрушительная лава его негодования наскочила на непреклонные заграждения арефьевской дисциплинированной стойкости, и слова Смирнова были уже не продолжением наступления, а малоудачным прикрытием отступления.

Кончил он — и полились не очень громкие, но всем слышные слова Арефьева:

— Доводилось мне такие речи слышать в восемнадцатом году, когда мы с великими трудами строили нашу армию. Тогда слышны были такие речи, и мы отвечали, что нашу армию надо строить не хуже армии наших врагов, такой же дисциплинированной и стойкой. Поэтому, прежде всего, надо закалить комиссарский состав. Это мы делаем

и будем делать. Плох тот командир, который в любой момент не может превратиться в дисциплинированного рядового бойца. Вы — это не умеете, это показали сегодняшние строевые занятия. Больше таких историй у нас не будет. О заслугах — скажу: разве может партия забыть о заслуге?!

Заслуга — право на большую работу. А у нас не было так, чтобы работы не хватило. Наоборот, нехватает работников. Заслуга каждого остается при нем. Товарищи, на шесть месяцев мы вас превращаем в рядовых красноармейцев. Для того, чтобы потом вы сами могли лучше командовать.

Так постановлено. Отдан приказ. И этот приказ я буду выполнять.

Арефьев все время говорил неподвижно, только чуть покачивая вперед и назад свое стройное, высокое тело и держа руки за спиной. Здесь же, в такт последним словам, он несколько раз поднял и опустил кулак, легко и быстро, словно заколачивая гвозди в непокорное дерево.

— Снять ремни и оружие! — скомандовал спеш.



В три окна канцелярии ослепительно жгучими столбами вошло солнце и ворошит запахи сургуча и чернил. Щелкает машинка, шуршит бумага, гудят голоса комиссаров, гуськом ставших в очередь в начхозову столу.

— Распишитесь, — говорит начхоз каждому, толстым желтым пальцем тычет он в ведомость и, рассмотрев подпись, протягивает пайковую карточку.

Коваль — шестой в череду. Мутит его досада и от утреннего и от того, что сейчас надо стоять в очереди. «Как бараны», — думает он обидно для себя и передвигается вперед.

— И к чему это, товарищ начхоз, эта формалистика? — спрашивает он. — Расписки, подписки. . . Что я, второй раз за карточкой пойду?

Начхоз свои недоверчивые линюче-голубые глаза упирает в Ковалья. Тот отвечает ему своим зеленоватым и прозрачным, как колодезная вода, взглядом. Глаза начхоза слепит непрерывный пот, обильно струящийся из-под фу-

ражки, высокими тульями¹ похожей на конфорку с самовара. Начхоз утирает клетчатый платком лоб и спрашивает Коваль язвительно:

— А я вас знаю, что вы за второй не придете? А вдруг да и придете? Кто в накладе? Я в накладе? Государство наше в накладе! То-то... Распишитесь, товарищ! Вот кто в накладе, да!

Ковалью не хочется дальше спорить. Он с насмешкой осматривает начхоза и думает про него: вор, не иначе, как и всякая завхозня.

Не знает Коваль, что главное в начхозе — это то, что в дни германской войны его, каптенармуса пехотного полка, из зажиточных и грамотных сибиряков, его, так скромно и достойно носившего унтер-офицерские лычки, ни за что велел высечь самодур-генерал. Через это — с февраля семнадцатого туда, где нету офицерни, к тем, кто ее бьет, стало быть — к большевикам пошел оскорбленный каптенармус, и с начала Красной армии неотступно служил он большевикам, был он чусоснабармом и начпродкомдива² и врос в армию своими корнями, и стал от своего крестьянского хозяйства отрезанный ломоть. Это — главное. Это строило его жизнь, но об этом скрытом, очень глубоком, никто не знает.

Коваль расписался и вышел на ослепительное солнце. Обвел скучающими глазами двор и увидел на бревнах Смирнова и Дегтярева. Лениво подошел к ним. У Смирнова после утреннего еще ярко горит лицо и лихорадочно блестя глаза. В руках он держит бумажку. Дегтярев, как всегда, скрытен, точно беззаконный купецкий амбар. Коваль лениво подсел к ним.

Помолчали втроем.

Смирнов переглянулся с Дегтяревым и вдруг сказал торжественно:

— Ну вот, товарищ Коваль, таиться нам нечего... Надо нам из этих проклятых дисциплинарных батальонов

¹ Тулья — часть фуражки, поднимающаяся над полями и прикрывающая голову.

² Начпродкомдив — начальник особой продовольственной комиссии дивизии.

тикать... Скажите, да или нет? — спросил он, взяв свой голос.

— Верно, — сказал Коваль. — Об этом все время моя думка. Но вопрос: как?

Смирнов лукаво, загадочно мигнул:

— Эге, товарищ Коваль, у нас есть одна гропка. Ежели вместе побежишь, так и тебе покажем.

— Руку, — сказал Коваль.

Миндлов:

— Знаешь, неприятный осадок оставляет эта история с ремнями и выступление Смирнова, а?

Лобичев:

— То ли будет! Ведь у нас что ни комиссар, то особый урус. Верно!

Сидят они в тени на бревнах и пожирают ржавый вобляный суп. Вываренные тела вобл лежат рядом на бревнышке и аккуратно завернуты Лобичевым в зеленый лопух. Вот съедены воблы. Товарищи забирают котелок и идут в канцелярию.

В кабинете Миндлова сургучно-чернильный запах мешается с ароматом цветущей черемухи. На краю стола лежит стопка перепечатанных листков. Это — полная программа курсов.

Лобичев еще раз просматривает ее, хотя она несколько раз уже просмотрена и обмерена вдоль и поперек.

— А что в губкоме сказали? — спрашивает он Миндлова.

— Чего ж! — Миндлов оживился. — Истмат дают историю партии — тоже, историю Интернационала тоже намечают, аграрный вопрос — тоже. По остальным пока указать никого не могут, но обещают. Однако, с этим уже можно начинать.

А вот с политэкономией заковыка. Есть у них бывший меньшевик, в партию он не вступил еще, но считает себя коммунистом, и губком ему доверяет, он читает лекции в губсовпартшколе здешней. Говорят, очень образованный марксист.

— А не подкует он нас, Миндлов?

— Ничего. Опасно, конечно, но посильно будем контролировать.

— А с общеобразовательным как?

Миндлов не успел ответить. В комнату вошел Арсфьев. Серые глаза его необычно блестели.

— Прочти, Миндлов! — и он положил на стол несколько листков исписанной бумаги.

Миндлов увидел удалой, нансхось бегущий, неграмотный почерк верхнего листка.

РАПОРТ

Прошу об экзаменовании меня по политической сознательности на предмет увольнения с вышеозначенных курсов, как я уже знаком с политической и хозяйственной экономией и историей империализма.

Н. Смирнов.

— Что за чушь? — пробормотал Миндлов.

Лобичев пожал плечами и коротко засмеялся.

— Остальные рапорты можете не читать. Все написаны по одному образцу. Там еще шесть: Медового, Дегтярева, Коваля, Герасименко, Хазибекова.

Лобичев зашуршал спичками и сказал:

— По испытанию все шесть в самой последней категории. Отказать в экзамене — и все.

Арсфьев покачал головой:

— Нет, это слабо и даст им возможность бузить. Надо их бить крепче. Назначим экзамен на завтра и, как беспристрастных, призовем Розова и командующего. Проэкзаменуем и результаты экзамена объявим приказом. Ведь ни пиля не знают ребята, а тоже...

Арсфьев вдруг замолчал и на секунду опустил глаза и долго разглядывал свои чистые, длинные пальцы.

— Будет буза на курсах, — сказал он потом, подняв на Лобичева и Миндлова свой по-обычному холодный взгляд.

В дверь постучались, и вошел рыжеволосый подросток в сандалиях на босу ногу и черных длинных брюках. Как это иногда бывает у рыжих, нежная и тонкая кожа его лица была усеяна бледными веснушками и чуть опушена золоти-сто-рыжим пухом. Черты лица — мягкие, почти ребяческие.

— В чем дело, товарищ? — спросил Арсфьев.

Мальчик шагнул с правой, подошел к столу, протянул бумаги и вытянулся. Жесты у него были такие, точно он передразнивал военных, но лицо серьезно и взволнованно. Оглядев его с головы до ног, Арефьев спрятал улыбку, склонившись над бумагами.

— Косихин Сергей, член губкома РКСМ, мобилизованный в армию. Очень хорошо.

— А вы где-нибудь вели кружки? — спросил Миндлов, просматривая бумаги.

— Да, я руководил марксистским кружком центрального городского клуба РКСМ, — ломающимся голосом сказал подросток.

— Ну, ладно. Вот — товарищ Миндлов, начучполит, ваше непосредственное начальство. Значит, завтра экзамен?

— Да, я выработаю схему вопросов.

Когда Косихин шел на курсы, он заранее решил, что по-армейски будет держаться с новыми людьми. Красная армия! Ему было восемнадцать лет, и Красную армию знал он только внешне, в победном гуле оркестров и распушенных знамен, на революционных парадах, да в песнях и рассказах товарищей, побывавших уже на фронте. И когда, в результате вот уже два года не прекращающейся склоки в местной комсомольской организации, его мобилизовали в армию, у него к огорчению примешивалась гордость, и кабинет Розова с гигантской картой края и помеченной на ней дислокацией,¹ и треск барабана на дворе курсов — все это настраивало его на то, что он вступает в какую-то совсем новую жизнь.

И он не понимал недоумения, с которым следили за его движениями Арефьев, Лобичев и Миндлов; он думал, что это относится к его штатскому виду. Лобичев проводил Арефьева одобрительным взглядом и потом, посмотрев на неподвижно застывшего Косихина, сказал ему с добродушной усмешкой:

— А ты, парень, садись! Что ты ровно аршин проглотил?

¹ Дислокация — расположение войск.

— Да, верно, — спохватился Миндлов, — садитесь, пожалуйста!

Лобичев схватил Косихина за пояс и посадил его рядом с собой на диван.

— Хорошо, что тебя прислали. А то что ж, мы пока двое только. Обещают еще, но когда это будет!

Косихин глянул в глаза Лобичева, ласковые, как зеленый заводский пруд под солнцем, почувствовал, что Лобичев добр и прост, и немного расправился. Взглянул на Миндлова. И у горбоносого Миндлова под разбитым пенсне в усталых глазах была ласка, его тусклые губы дружески улыбались.

Косихин спросил:

— А какая будет моя обязанность?

— Вы будете группруком. Получите группу слушателей и будете прорабатывать с ними лекции. А вот программа, почитайте-ка!

И в первый же вечер своего пребывания на курсах Сережа, ложась спать на отведенной ему постели, с гордостью ощутил себя составной частью большой военной машины и с чувством превосходства думал о победившем в комсомоле направлении, уславшем его на военную работу.

Ничего, они еще услышат о нем! И честолюбивые ребяческие мечты путались с впечатлениями сегодняшнего дня.

Наутро треск барабана собрал всех на двор. Был зачитан первый приказ, и прошла первая проверка, разноголовая, как утренний крик петухов по деревне.

Потом два часа — вздвигали ряды, строились по отделениям, заходили правым плечом вперед... Отделениями прошли по просыпающемуся городу, гулко отдавая шаг по похолодевшей за ночь мостовой, и, подгоняя друг к другу голоса, разучивали веселую песню:

Дело было в субботу,

Дело было в субботу,

Во субботу, кума, во субботу.

И так пошло изо дня в день. Барабан вел через все повороты курсового дня. В двенадцать часов каждодневная и все же торжественная церемония развода и смены караулов, сдачи и смены дежурств. И хоть Арефьева не видели,

но все знали, что этот с каждым днем крепнувший зажим идет от него.

Взводный второго взвода, крепкий, как таежный гриб-боровик, широкоскулый Гладких, после строевых занятий на млеющем в майском солнце дворе распекает опоздавшего к поверке Помадочкина:

— Ты, товарищ дорогой, боле не комиссар. Это ты себе помни. Дисциплинку-то подтяни, едрена кочка!

— И, пожалуйста, товарищ Гладких, не выговаривайте, я и сам не маленький. Уж если вы взводный, так и загордели... Ведь я тоже ответственный...

Гладких смотрит на него с выражением снисходительного презрения:

— Взводный... Однако, я полком комиссарил, но никто не может сказать, что я делал разницу промеж себя и красноармейца. А вот вы, по вашей обиде судя, для себя почетную должность рядового красноармейца обидной считаете. Ответственный... Об ответственности вы забудьте. Ответственность у вас здесь одна — на поверку прийти.

Гладких считает выговор оконченным, его блестяще вычищенные сапоги с легким поскрипыванием уходят прочь. Помадочкин стоит и с трусливой неприязнью смотрит вслед. Его полное пухлое лицо кисло и жалобно.

— Что, раз... — спрашивает его полусочувственно, полунасмешливо Коваль.

— Халуй арефьевский, — жалобно повизгивает Помадочкин, — вот службу любит, чадонская душа.

— Верно, — соглашается Коваль, — одно слово унтер¹, внутренний враг. Чорт с ним, с ихними порядками. Я, мабуть, скоро отсюда — фю-ю-ю.

— Это как же?

— Дело, друг, простое. И ты можешь, коли захочешь. Подали рапорта, что мы достаточно сознательны, и учить нас нечему. Ну, и назначен нам экзамен.

— Экзамен?

— Да. Будет командующий и этот чортушка Розов. Но

¹ Унтер-офицер — второй из трех солдатских чинов (до революции): ефрейтор, унтер-офицер, фельдфебель.

очень уж охота утечь. Ну, чему они здесь научат? Ровненько ничему. А время потеряешь. Ну как, подашь рапорт?

— Нет. Я уж подожду, как вас. Боязно, что Розов... Да и командующий...

Коваль смотрит на Помадочкина примерно с таким же снисходительным презрением, с каким смотрел Гладких, и, тряхнув кудрями, уходит к зданию курсов.

У Громова с Васильевым тоже большой разговор. С самого первого свидания ощутили они разделявшие их и уводившие друг от друга мысли, но так велика была радость встречи, что, точно условившись, не начинали опасных разговоров.

Но сегодня после строевых Громов, войдя в комнату и увидав, что Васильев, бледный, с пятнами бордового румянца на щеках, лежит на койке, почувствовал к нему жалость и раздражение за то, что тот подчиняется нелепостям окружающего порядка и не сознает их. И Громов сказал жестоко:

— Ишь, вояка! Сдохнешь ты, Гришка, за нашу глупость.

— Это ты о чем? Об строевых?

— Конечно. Чего ты таскаешься? Больной ведь, а тоже!

— Я скоро не стану ходить... Но сейчас надо, чтобы настроение поддерживать и дисциплину.

Помолчали немного, точно безмолвно продолжали разговор. И Громов мрачно сказал:

— В заступу Смирнова я, конечно, ничего не скажу. Такая же сволочь, как и Арефьев. Я их носом чую, этой породы коммунистов. Поставь Арефьева на место Смирнова, — так же бы рюмил, изображал бы из себя демократа, как сейчас Смирнов. Это демократизм своей шкуры.

— Разве в Арефьеве дело, Захар? Нужно так отвечать: полезны ли нам строевые? А ребята закомиссарились, разнежились и из-за строевых хотят подлым путем с курсов уходить.

— Подлым... Я этим путем, конечно, не уйду. Захочу — так меня никто не удержит. Но куда же итти? Везде, как короста, сушит нас бюрократизм. От него не убежишь.

— Вот верно ты сказал, — резко прервал его Васильев

и поднялся с постели. — Ты не бежишь только потому, что не знаешь, куда бежать. Это плохая храбрость... А надо с плохим бороться, не бежать от него.

— А ты, как слепой, идёшь за интеллигенцией.

— Это кто же интеллигенция — Ленин?

— Ленин... Вишь ты, как что — так сразу Ленин. Только и есть у вас, что Ленин. А он, может, такой же слепой, как и ты.

— А ты один зрячий?

Долго ругались они, и жарко было от крови, прихлынувшей к лицам. Этот разговор был первым, и каждая следующая встреча все дальше разводила их друг от друга.

Арефьевский зажим день-от-дня все туже стягивал курсы, и одни подчинялись ему без особого удовольствия, но, как Васильев, сознанием и волей вводили себя в военную муштру, другие, старые солдаты, с удовольствием входили в полузабытый ритм военной жизни; так отставной, слышав стук барабана, невольно равняет свой шаг и разворачивает плечи. Состояние это хорошо было своей безмятежностью. Своя воля отдавалась начальнику, и в короткие минуты отдыха приятно было сбегать к баку с жестяным чайником, вместе с товарищами, обжигаясь, пить мутный кофейный напиток и жить в размеренных пространствах казармы, где кровати стоят по четыре: две рядом и две головами друг к другу, а по стенам висят чертежи разобранных бомб, винтовок и портреты вождей. А для третьих этот порядок был утерей завоеваний Октябрьской революции, утерей той солдатской свободы, из которой вырос их забубенный большевизм. Для них воинский порядок был напоминанием о временах мордобоя и офицерщины, временах стонущих солдатских песен, в алых и пепельных зорях зимы шестнадцатого года.

И непрекращающийся ропот на порядки, на кухню, на начхоза и начстройа и больше всего на Арефьева то замолкал, то опять разгорался, как многодневный лесной пожар, где-то в далеких, непройденных пущах хребта.

— Слышь, Лобичев: Смионов да Дегтярев, да еще ребята — рапорт подали, а? Стало быть, будут с курсов увольнять?

Савка Туринских уже разделся, спросив, повернулся к

Лобичеву и смотрел на него своим карим, углубленным от легкого косоглазия взглядом. Разговор происходил перед сном, с соседних коек был слышен храп. Лобичев, снимая сапоги, думал, что его сегодня уже спрашивали о рапортах. Савка, сосед по койке, оказался земляком, работал на асбестовом руднике, неподалеку от завода, где работал Лобичев. Последние месяцы был Савка комиссаром конзапаса¹.

— Назначен им экзамен. Выдержат — уволят, не выдержат — оставят.

— А экзамен-то какой?

— Да ты что, сам хочешь увольняться?

— Да что ж, я не против учения, но очень уж насчет харчей плохо. Да и как-то непривычно в казарме.

— Вот как? за брюхом, значит, пойдешь? Ну, ежели тебя в партию брюхо привело, да, значит, ошиблось. Скоро уведет. А насчет ученья ты запомни, что коммунист, который от этого отвливает, нам ни в какую не нужен.

Поругав Савку, Лобичев заснул. Но утром задумался. Весть о рапортах опять взбаламутила еще не устоявшийся порядок курсов. Это чувствовал Лобичев, неразрывно связанный со слушательской массой. Его неподвижное лицо рабочего здешних мест изредка освещала яркая и приветливая, как погожий день северного хвойного лета, улыбка; руки были у него большие, сильные, узловатые, и говорил он родным местным говором. Его не стеснялись, с ним советовались, хотя и знали, что он тоже теперь начальство и состоит в учебном штате.

Поэтому на следующий день, улучив свободное время, Лобичев пошел искать Миндлова.

Нашел он его во дворе. Из-за спин и голов слышен был высокий страстный голос. Лобичев улыбнулся — Миндлов митинговал. Все свободное время Миндлов проводил со слушателями. Болезненно возбужденный, приходил он к ним, чтобы забыться в наркотике,² облегчавшем мучения его болезни — в политической агитации. Все, что вычитывал он в газете, все, о чем думала его лохматая голова, все это рассеивал он своим щедрым, пронзительно-картавым голо-

¹ Конзапас — конный запас.

² Наркотик — морфий, кокаин и др. наркотические вещества.

сом. И комиссары любили его, всегда внимательно выслушивали его длинные, легко и привычно слагающиеся фразы. Лобичев терпеливо дождался, и когда Миндлов исчерпал тему, он отозвал его в сторону и сказал:

— Вот что, Миндлов, надо бы чему-нибудь ребят регулярно занять. Потому что это склока, она много от безделья зависит. Занятия надо начать.

Миндлов нервно всколыхнулся:

— Ну, чего ж... ведь решили же не кустарничать. С понедельника начнем занятия, когда окончательно освободят здание, а сейчас надо подождать... И что это за нетерпение?

— Ты не горячись. Вот с этими рапортами. Это ведь разговоров наслушаешься за день — семь верст до небес и все лесом. Арефьев, он, конечно, высоко летает, много хлопот ему, и он многого не видит. А по-моему, нельзя так. Четыре часа — строй, а потом гуляй. От этого «гуляй» весь разговор. А давай такую штуку. С учителями ты сговорился, паек казенный они уже жуют, ну и приспособим их.

— И ты же знаешь, Лобичев, что Арефев против, чтобы заниматься в спальнях? И ведь это воинский порядок нарушает... И я знаю...

— А мы начнем во дворе.

— Как во дворе?

— А чего ж, дни стоят погожие, поставим парты, разобьем шатию на группы по грамотности и начнем заниматься. Кстати я подзаймусь. Я ведь дрови толком не знаю; как знаменатели равнять, совсем позабыл.

И вот на следующее утро во дворе встали четыре отряда парт, возглавленных черными досками. По двору бродяжили куры, разгребали червей, звенела порой мостовая за высоким забором, а на партах зеленели гимнастерки. потерянные учителя ходили у досок, и гул учебы глухо несся с зеленого двора.

За дверьми семь человек прислушиваются к глухому говору, доносящемуся из кабинета Арефьева. Семь — возбуждены, веселы и отчаянны. Шалавин, случайно подошедший, пронизательно посматривает на них и покачивает большой щетинистой головой.

— Смирнов, Николай Иванович. — слышен из за двери сухой глуховатый голос Розова.

Смирнов жмурится, делает балдеющее лицо, утрированно¹ шуточно крестится, товарищи фыркают. . . Быстро стерев с лица гримасу и покрыв его выражением солидной серьезности, ныряет Николай Иванович в двери.

— Садитесь, товарищ Смирнов, — говорит Розов. — Итак, вы считаете, что вам незачем учиться на курсах?

— Да, — говорит Смирнов, солидно садясь на стул и поправляя его под собой. — Я уже изложил в рапорте.

Он смотрит на командующего и быстро отводит от него глаза: очень уж у того синий, насквозь понимающий и чуть лукавый взгляд. Лучше смотреть на Розова — тот хоть сух, но официален.

— Хорошо-с, — говорит Розов. — Вот мы к рапорту и вернемся. Вы тут пишете, что знакомы с политической и хозяйственной экономией. Расскажите-ка, что это за науки?

Мысль Смирнова начинает усиленно работать. Название этих наук он как будто бы мельком видел у Миндлова на программе курсов и написал их для важности, не зная, что они обозначают. Такого оборота экзамена он не предвидел. Но он не теряется. За свою долгую работу он привык жить оборотистым и егозливым умом своим и на него же надеется сейчас.

— Политическая экономия. . . гм. Она касается до управления, одним словом, политики. . . диктатуры рабоче-крестьянского класса. Хозяйственная экономия. . . она обозначает из себя экономию в хозяйстве. . . гм.

Он обвел глазами экзаменующих. Арефьев почему-то смотрит в окно. Миндлов склонил голову над столом. Командующий, не скрывая насмешки, улыбается и щурит синий глаз. У Розова чуть кривятся направо губы.

— Такой науки нет, товарищ Смирнов. А политическая экономия тоже не то изучает, что вы тут наговорили. И плохо не то, что вы ничего не знаете. Плохо, что вы ловчите, как недостойно коммуниста, настолько заслуженного, и треплетесь единственно с целью избежать необходимой

¹ Утрировать — преувеличивать, вдаваться в крайности.

вам учебы. Я считаю экзамен товарища Смирнова достаточным, — обратился Розов к остальным.

Но тут Смирнов вскипел. Рушились надежды на возвращение к губвоенкомше, в милый насиженный городок.

— Что это за насмешки? Экзаменовать — так экзаменовать. Один вопрос спросили — и кончено. Нет, товарищи, по отношению меня и моих заслуг. . .

— Те-те-те, — поддразнил командующий. — И горячий же ты, Смирнов, только на кавалерийские части назначать! Ладно, спроси-кось его, Миндлов, что-нибудь!

Миндлов подумал, потом протянул Смирнову газету:

— Читайте передовицу, товарищ Смирнов!

Смирнов, запинаясь, медленно начал читать.

— Стойте! Вон там слово «империализм». Что оно обозначает?

Смирнов тяжело задумался. Слово — знакомое. Им обозначается то враждебное, против чего Смирнов самоотверженно боролся всю революцию и против чего готов бороться сейчас, но что это, как это объяснить? В его голове пронеслись бесчисленные митинги, на которых он и другие товарищи с ненавистью кричали это слово. А что оно обозначает?

— Империализм. . . это, одним словом, империя, буржуазия, гм, когда император завоевывает, гм. . .

— Прочтите ниже! Здесь написано: «аппетиты французских империалистов». А ведь там императора нету, там республика. Как же так?

Долгое безжалостное молчание. Миндлову жаль покрасневшего, вспотевшего Смирнова. Он видит его страдальческие глаза, но знает Миндлов, что молчание должно длиться, что надо быть безжалостным, чтобы Смирнов осознал свою безграмотность до конца, тогда он поймет необходимость учебы.

И, наконец; молчание прерывает командующий:

— Видишь, товарищ Смирнов, это тебе не дивизией командовать и не головы рубить. Это-то ты умеешь, я знаю. Но другие времена — другие песни. Надо быть грамотным, чтоб справиться с новой работой, какую задает нам революция. Так-то, друг мой, Николай Иванович!

Командующий больше не смеется. Голос его серьезен

и почти ласков. Но за лаской слышит Смирнов строгость.

«Отказать и оставить на курсах», — пишет командующий на рапорте.

— Возьми рапорт и больше не бузи!

Красный, насупленный, выскочил Смирнов из-за двери и, не отвечая на расспросы ребят, ушел.

— Коваль Афанасий, — сейчас же послышалось из кабинета.

Коваль вошел, улыбнулся, и этой улыбке, откровенной и хитрой, блеску белых зубов и ясности взгляда невозможно было не ответить. Улыбнулся командующий, растянулись синие губы Миндлова. И даже у Розова с Арёфьевым дрогнули строгие рты. Эта улыбка точно выдала Ковалю.

— Зачем ты, Коваль, подал этот рапорт? Разве ты грамотный, как здесь пишешь? Вот он, — и командующий кивнул в сторону Миндлова, — задаст тебе один вопрос, и ты позорно засыплешься.

— Так он ученый, а я — ни, — тонко сказал Коваль.

— Вот и надо, чтобы ты был ученым. Оттого и учим. Возьми обратно рапорт и не бузи!

Коваль почесал лохматую голову. На секунду нахмурился, потом опять улыбнулся и сказал, принимая рапорт:

— Ну, твоя взяла, товарищ Власов!

Третьим вызвали Михалева, комиссара госпиталя, картавого худенького мальчишку, с испорченными зубами, тонким носиком, франтовато-измятой фуражкой и обширными, как два живота, галифе. После неудачи предыдущих двух был он от отчаяния дерзок и храбр.

На вопрос: «кто был Маркс», — он ответил:

— Марксист.

Раскол большевиков и меньшевиков отнес к восемнадцатому году, путал ЦК со ВЦИК с облегчением получил обратно рапорт с резолюцией командующего: «отказать».

Герасименко, голубоглазый, смуглолицый украинец, и Хазибеков, киргиз, высокий, желтый, сухой и легкий, как стебель ковыля в засушливую осень, посмотрев на загнанное лицо Михалева, сробели экзамена и отказались от него.

Долго спрашивали Дегтярева и Медового. Дегтярев с первого дня пребывания на курсах почувствовал глубоким, как у хищного зверя, инстинктом, что ему нужно отсюда уйти для спасения себя, и он единственный из семи готовился к экзамену. Экзаменовавшие чувствовали, что, пожалуй, он что-то знает, но его расчетливый, ограниченный житейским, рассудок, семена знания возрастал скупой и извращенно.

— Брось, товарищ Дегтярев, — сказал ему командующий, возвращая рапорт. — Кой-чего ты знаешь, но поучись-ка еще!

Медовой, чуть сутуловатый, стройный, комиссар блиндрованного поезда, машинист — горбоносый, с остренькой бородкой — серьезный и вдумчивый парень, действительно считал, что знает и что незачем ему учиться на курсах. Это знание он чувствовал в себе так глубоко, что со спокойным достоинством держал себя на экзамене, и это спокойствие умерило даже безжалостную насмешливость командующего.

Но почти ни на один вопрос не мог Медовой ответить. И ушел он с экзамена со смутным и смешанным чувством: поверх, как масло, плавала обида, а снизу подымалась неожиданная острая тревога.

Он не мог ответить, что такое партия! Но ведь всем существом своим он знал это, потому что в период меньшевистско-эсеровского засилья, первый машинист в участке, стал он большевиком. И на своей же шкуре знал он, почему меньшевики и эсеры враги еще большие, чем кадеты, твердо верил, идя на экзамен, что все знает. А оказалось, что нет этому знанию слов. Растревоженный, грозный, как туча, пошел он в библиотеку курсов. Там Лобичев и Косихин укладывали и переписывали книги. Новыми глазами смотрел он на эти куски картона и бумаги, измазанные типографской краской. За гражданскую войну почти не приходилось читать, а после войны обленился. Он взял одну из книг и прочел заглавие: Р. Гильфердинг. «Финансовый капитал». Эти слова вызвали в нем смутное ощущение чего-то враждебного, крепко-организованного. Он наудачу открыл книгу: «При обращении товара передача потребительных стоимостей и передача собственности

идут рука об руку». Все слова — русские. Но что они значат? Что значит вся эта фраза? Может быть, это что-нибудь враждебное, а он бессилен перед ней, как перед ярко вспыхивающей в черной боевой ночи ракетной сигнализацией врага.

И с полчаса он стоял в странной позе, поставив одну ногу на стул и положил на нее раскрытую книгу. И когда он книгу захлопнул, лицо его выражало стремительную, как бег паровоза, решимость.

●

Первое торжественное собрание ячейки РКП состоялось в бывшей гимназической церкви, ее переделывали на главную аудиторию, лики угодников с одной стороны уже закрашены, но с другой они глядят сумрачно и дико, точно удивляются невиданным, не клонящим перед ними голову людям, которые весело рассаживаются по скамьям и партам, пересмеиваются, переговариваются, до тех пор, пока старческий, чуть дребезжащий голос Василь Егорыча Злыднева не объявил собрание открытым.

Много ячеек зачинал Злыднев, много собраний открывал он и в годы подпольной борьбы, в подвалах, в лесу, на убогой квартирке рабочей окраины. Потом наступили другие собрания, в прокуренных комнатах совдепов, в цехе, среди остановившихся машин — собрания семнадцатого года... Во время гражданской — знал Злыднев собрания в случайной деревне, через которую несколько раз туда и обратно проходила гражданская война. И на поляне, у костра, окруженного красноармейскими лицами. И вот, наконец, пришло время, собрания ячейки вошли в еженедельный обиход, у ячеек есть свои комнаты, там, среди лозунгов и плакатов, сердце ячейки — секретарь. Без партдня, без собрания бюро — неделя уже не неделя.

Маленький сухонький старичок, похожий на шпунек, с которого смотаны нитки, показал Василь Егорыч свое розовое, серебрящееся седой щетиной лицо и предложил выбрать торжественный президиум.

— Шалавина, Смирнова, Медового, Васильева, Миндлова, Арефьева.

Президиум, пристойно улыбаясь, тихо переговариваясь,

занял места, посадив в середину сидящую макушку Злыднева, и опять его дребезжащий голос объявил:

— Повестка дня, товарищи. Приветственное слово от губкома — товарищ Гринев, от пуокра и штаокра¹ — товарищ Розов; второй вопрос: товарищ Миндлов сделает информационный доклад о программе. И — выборы бюро.

Начались приветственные слова. Гринев — рослый рабочий, председатель губсовнархоза и член губкома, нарушил солидную благопристойность своей новенькой тройки, заложив руку за пояс брюк, и из-под жилета забелелось белье. Бородатый рот его, прогрохотав официальные слова приветствия, начал говорить о том, что болело у него ежедневно, о той работе, которую он взвалил на свои широкие плечи. Произошло это для него незаметно, начал с задач партии, перешел к хозяйственному строительству и загрохотал о выработке рудников, о своих заветных планах — открытии заводов, о проектах концессий. . . И вдруг вспомнил, улыбнулся:

— Ну, я, товарищи, завлекся в сторону. Итак, мы приветствуем новый отряд коммунистических бойцов. У нас вы теперь самая сильная ячейка как по числу, так и по стажу. Держите же высоко наше революционное красное знамя. И. . . Ура! — добавил он, решительно сбиваясь с проторенной тропы официальных слов на приветственный крик.

— Ура! — весело загремели сто здоровых глоток.

Задребезжали окна, с деревьев взвились испуганные птицы, делегат от губкома, заложив большую руку за пояс брюк, чувствовал, точно свежий ветер обвеивает его голову, и улыбался.

Сухо, деловито приветствовал собрание Розов: маленький, сутулый, как полукрытый перочинный ножик, он говорил своим глуховатым, но ясным голосом раздельно и мерно. Он говорил о задачах, которые стоят перед курсами, о трудностях этих задач, говорил об изживании партизанщины, которая еще осталась во многих. Многие конфузливо жались во время речи Розова, и после секундного, почти неуловимого молчания собрание долго аплодировало Ро-

¹ Штаокр — штаб округа.

зову, поблескивавшему в углу серебряной оправой очков.

И вот на кафедре нервно выскочил Иосиф Миндлов, замахал кулаками, судорожно подергивая своей лохматоволосой головой перед пестрой диаграммой учебного плана. Его страстный, высокий голос, его беспорядочные жесты говорили каждому о той работе, которая предстоит на курсах, и названия различных дисциплин ложились на многоцветном учебном плане, как ступени громадной лестницы. Прогремели аплодисменты, и, наконец, подошли выборы нового бюро. Но как только Злыднев объявил этот пункт, с задних рядов послышался глуховатый голос:

— Товарищи, у меня есть предложение голосовать списком.

Собрание оглядывалось на голос, шуршали недоуменно вопросы. А он в черной рубашке, с правым пустым рукавом, засунутым за пояс, и непоколебимым лицом уже продирался со своего места мимо сидевших рядом с ним и до сих пор его не замечавших товарищей, продирался вперед, к президиуму. Блестели его глаза, и он точно слегка улыбался.

Его выступление нарушило благопристойность течения торжественного собрания, и Злыднев, досадливо морщась, переспрашивал:

— Чего? Какой список?

— Мой, — сказал однорукий, проходя вперед и поворачиваясь лицом к собранию. — Мой. Вот он: члены — Злыднев, Шалавин, Васильев, Гладких, Лобичев. Кандидаты...

— Погодите, товарищ, — прервал его Злыднев. — Прошу не шуметь, — сказал он строго собранию и жестом руки снизу вверх сажал на место повскакавших наиболее горячих ребят. — Тише, к порядку. Нам, прежде всего, надо вырешить вопрос — будем голосовать списками или по отдельности.

— Слова!

— О порядке голосования?

— Да, против списка!

— Тогда мне за списки, — сказал однорукий, продолжавший стоять впереди.

— Фамилия ваша? — спросил его Злыднев.

— Кононов.

— Слово против списков имеет товарищ Смирнов.

Смирнов, надуваясь, встал из президиума, вышел вперед, крепко расставил ноги в блестящих сапогах и, по своей давней привычке сцепив руку с рукой, начал внушительным голосом:

— Дорогие товарищи, вот здесь предыдущий оратор предлагает голосовать список и зачел его нам. Но вопрос — кто уполномочил товарища составлять список? Что мы, сами голов не имеем? И мы этого товарища не знаем. А все мы из одной армии. Друг о друге прослышаны и можем выбирать, как нам захотится. Не надо нам никаких списков, товарищи, мы не беспартийные учителя какие-нибудь, которым надо список дать, чтобы они не голосовали за контрреволюцию, а все мы, здесь собравшиеся, полноправные РКП большевики. Поэтому я за свободное голосование и название фамилий.

Ему еще не кончили аплодировать, но уже глухие, спокойные слова однорукого шли одно за другим:

— Право каждого члена партии при выборах бюро голосовать, как он хочет и за кого хочет. Конечно, я не этой армии, мало кого знаю, и меня мало здесь знают. Но уже две недели я на курсах и для себя обдумал вопрос, кто годится в политические руководители ячейки. Вот поэтому я и предлагаю свой список. В него я поставил таких товарищей, которые наиболее сознательны. И по-товарищески скажу: Смирнова я не поставил, потому что он не годится.

— А вы кто такой? — багровея, приподнялся Смирнов.

Опять зашумело собрание.

— Тише, товарищи, — и Злыднев мягким жестом опять сажал повскакавших с мест. Потом обратился к однорукому: — Вы, товарищ Кононов, ближе к вопросу говорите, не затрагивая отдельных лиц, а только за порядок голосования списками.

— Но я требую разъяснения, — крикнул Смирнов.

— Тише, Николай Иванович, слово имеет товарищ Кононов.

— Ладно. Кто я такой — член партии. Кто меня уполномочил составлять — я сам. Очень плохо, что над этим вопросом, очень важным вопросом, никто не подумал, потому что бюро должно у нас быть крепкое, как гранит. Давно ли у нас десятый-то съезд отошел, и что он сказал...

Опять зашумело собрание. Лобичев нагнулся к Косихину и сказал:

— Он дельно это задумал, но провалит, потому что ни с кем не согласовал.

Косихин неодобрительно покачал золотой своей головой.

— По-моему, прав Смирнов. Нельзя собранию навязывать свое мнение.

При общем шуме Кононов кончил речь. Так никто и не понял, чего хочет этот упрямый, твердолицый человек, и последних слов его так никто и не слышал. Голосовали дружно против него, и только одна его левая рука поднялась за свое предложение.

Дальше пошло быстро и весело, все были одной армии, и имена боевых комиссаров из дивизии в дивизию перекатывались смутными раскатами далекого грома.

— Кононова, — крикнул Лобичев.

В президиуме уже считали руки. И вот Злыднев огласил состав бюро. Члены: Шалавин, Смирнов, Медовой, Злыднев и Коваль; кандидаты: Хазибеков, Васильев.

Только четыре голоса получил Кононов.

Медлительный «Интернационал» отметил начало еще одной ячейки. Кононов не пел, не было у него в голосе того, что позволяет ему красиво и мерно гнутья, но, вслед за поющими, повторял он слова и думал, почему это не поняли и не приняли его предложения.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Урок арифметики. Васильев у доски решает задачу, время от времени он ищет поддержки и оглядывается на учительницу. Та одобрительно улыбается ему и наводит его, указывая на осыпающие мел шершавые белые цифры, блестящим наконечником карандаша.

— Шестью девять — пятьдесят четыре, да прибавляем восемь...

Урок идет к концу, комиссары устали, легкий ветер, налетающий из-за забора, будит мечты о вольных временах. Учительница задумалась о своей одинокой жизни, о том, что муж без вести пропал где-то на юге.

Треск; треск барабана. Урок кончился. Непривыкшие к

движениям сильных тел парты скрипят и точно стонут. Кто идет к баку курить, кто вытягивается на траве, старательные окружают преподавателей и ведут с ними поучительные разговоры. Шалавин и Лобичев присели на скамью в короткой тени дома. Шалавин щурится от блеска окон, он надвинул шлем на свое большое щетинистое лицо.

— Арифметика наука — это первое дело, и в ней главная образованность. Какую машину ни возьми — вся она на арифметическом расчете. Опять и науки все на арифметическом расчете. Нашего брата к этой науке не допускали. Да. Но нам она очень нужная, потому что без нее ничего не наладить. Возьми ты крестьянское хозяйство, сколько тут складать, да множить, да вычитать. Опять же и в лесном деле деланки все промерь, инструменты такие есть и шнур — все на счете да расчете. А социализм, народ кормить, сколько тут счета? Все надо подсчитать. Сколько произвести чего — машин или опять же мануфактуры. Самонужнейшая наука.

К ним подошел стройный Васильев, его руки еще выбелены, и мазок мела тает на его красном лице, покрытом мелким, искрящимся потом. Он ткнул пальцем в измятый и влажный лист:

— Верно решил! Право! Сама сказала! Во.

Сел рядом с Шалавиным. Шалавин обхватил его плечи.

— Вот молодец, ах, молодец! У меня мозги уже окостели, плохо ворочаются, а у тебя еще тут, — он легонько и ласково своей большой ладонью хлопнул Васильева по затылку, — не впроворот, знай, руби да накладывай!

— А вот Смирнов, Николай Иванович, — сказал Васильев, — он на занятия не ходит, очень себя высоко понимает.

— Ах, ах, — сказал Шалавин, — это уж совсем не ладно.

— Да чего хорошего. Мы спорили вчера с ним да с Афонькой Ковалем, что они не посещают занятий, вчера опять на русский язык не пришли.

— А вот насчет этого самого русского языка, вообще насчет грамотности, я считаю — она нам не так нужна. То есть нужна, но не целиком, — сказал Шалавин, как бы сам раздумывая над сказанными словами.

— Как не целиком? — переспросил Лобичев. — Если ты азбуку целиком не будешь знать или правила правописания, значит, и выходит, что писать не сумеешь.

Шалавин, как бы с сожалением к неразумию Лобичева, оглядел его и покачал головой.

— Вот, я об одном, ты о другом. Грамота, понятное дело, нужна... Но... это совсем другое. Ты знаешь, что такое буржуйская образованность. Вот в Питере я служил кондуктором в омнибусе загородных сообщений. Говорят они, ты все слушаешь, но ничего дельного в разговоре нет, просто так, языком долдонят. Или возьми опять стихи — это не есть научность... а их стихам в школе учат, вот.

— Ну? — спросил Лобичев остановившегося и с видимым усилием думающего Шалавина.

— Тпру. Вот возьми так: кавалер и барышня. Ну, к примеру, ты — у вас сейчас какой-нибудь любовный разговор, ты шутишь и все поближе к любовному предмету. А у их не так. Говорят, говорят, слова русские, а не о деле и не о любви. Так, ни к чему. Это все образование...

Или Шалавин плохо объяснял, или жара мешала, но Васильев и Лобичев не понимали его, хотя и видели блеск глаз и убежденность голоса старика, что это им сказанное не раз уже глубоко передумывалось. Но эти мысли не находили отзвука у Лобичева и Васильева, и они переглянулись между собой.

Это заметил Шалавин и сказал наставительно:

— Молоды вы, ребята, и не понимаете тонкости буржуйского обмана. Вот возьмите хотя божественное поучение. Ведь это нам ко вреду, верно? А вот ежели наука какая — это физика, химия, механика, потом насчет звезд или там солнца, то это очень хорошо. Это надо. А грамота? Ты меня научи, чтобы я свою мысль, что я думаю, мог бы написать. Ты меня научи правильным таким словам, чтобы меня все понимали, и как их писать надо, чтобы вязко получалось. Вот и вся грамота. Остатнее только к обману.

— Ну, нет, — сказал Васильев. — Вот я в Москве еще до революции занимался, курсы вечерние студенты устраивали. Так вот насчет литературы. Пушкин, Гоголь или Толстой, например. Я читал, и очень это интересно, Дмитрий Лукич.

— Уж вы думаете, я совсем дурак? — насмешливо спросил Шалавин. — Я Толстого читал, когда вы у мамы сосали. Человек он большой учености и, конечно, хотел людям добра, но социализма он по-настоящему не понимал и нашу программу тоже не знал. Учение у него было дикое, на потеху буржуям. . .

— Да ты об его религиозном учении говоришь и об философии. А Васильев об его литературе, — вмешался Лобичев.

— Правильно, Лобичев. Вот «Война и Мир», «Анна Каренина», «Казаки».

Шалавин задумался:

— Об войне и мире я у него читал, но наши это лучше излагают. Хотя бы Ленин и Зиновьев — «Против течения!» Куда там Толстой. Об казаках не читал.

— Да нет, Дмитрий Лукич: мы про Кузьму, ты про Ерему. «Война и Мир» — это об том, как люди жили вообще в России, когда Наполеон ходил на Москву. Это исторический рассказ из их жизни, называется — роман.

— Так это роман. Ну, и толкуешь ты, а толку нет. Литература, друг, одно, а роман другое. Это же безделка, ни к какому делу не нужна. Я как лежал в тюремной больнице в одиннадцатом годе, так от скуки я действительно читал этих романов много. . . но это безделка.

Опять треск барабана. Солнце палило, тени укоротились, и комиссары перетаскивали парты вплотную к кирпичной стене дома.

Васильев и Шалавин лениво пошли через жаркий двор в канцелярию курсов, где должно было состояться первое заседание бюро комячейки.

Лобичев, щурясь, смотрел им вслед. Нехотя думал о том, что надо идти в библиотеку заниматься. Жданная учеба оказалась трудна.

Разговоры с Миндловым, с Косихиным постоянно напоминали о том, что он отстал, что надо много читать и учиться, но трудно было усидеть за книгой, точно кто-то все время звал к настоящей работе, а эта работа не настоящая.

И приходилось не только с собой бороться, но и ребят наталкивать на книги. Лобичев вздохнул тихонько и вошел в здание курсов.

На собрание бюро ячейки был приглашен Арефьев. Смирнов боялся, что он не придет. Смирнову представлялось, что Арефьев будет избегать ячейки, быть может потому, что Смирнов, если бы он был начальником или комиссаром сам, то чувствовал бы по отношению к бюро недоверие и неприязнь. Но Арефьев пришел аккуратно к началу, и Смирнов рад был тому, что Арефьев сам встал на ту плоскость, на которой Смирнов надеялся свести с ним счеты. Смирнов ждал битвы, еще горела в нем обида за шашку, которую пришлось снять, и за неудачный и унижительный экзамен.

Он хотел, чтобы Арефьев выступил, и можно было бы придрасться, но Арефьев спокойно и терпеливо просидел все собрание, не вставив ни одного слова, и Смирнов не имел возможности задирать его. Но когда председательствовавший Злыднев объявил текущие дела, Арефьев поднял руку, и сердце Смирнова встревоженно-радостно ёкнуло.

— Замечаю я крайне ненормальное отношение к посещению занятий. С завтрашнего дня я отдаю в приказе, что все непосещающие занятия будут мною подвергаться аресту. И поскольку наши курсы на сто процентов партийные, я прошу также бюро воздействовать на товарищей, не посещающих занятия.

— Кто желает высказаться?

Радость и злость пляшут в теле Смирнова, но высказываться сейчас он не будет, чтоб не было похоже, что он по злобе выступает.

Все молчали, и нехотя взял слово кудрявый Коваль. Он насупился, и только на дне его светлых глаз горело веселое украинское солнце.

— Дай-ка я скажу... — он опять помолчал и пригладил свои кудрявые темнорусые волосы. — Не возьму я в понятие... как же это. Чи мы не товарищи Арефьеву! Рази он нас не знает, як и мы его? Так зачем же сразу, фу-ты, ну-ты, арест и депрессии? ¹ Рази нельзя по-товарищески?

Он сел. Медовой одобрительно кивнул ему. Слово взял Васильев.

¹ Депрессия, т. е. репрессия — гонение, преследование.

— А я смотрю не так, товарищи. Без дисциплины в учении мало что сделаешь. Очень трудно заниматься, когда в группе есть товарищи не посещающие, потому что такие товарищи отстают, и надо обратно возвращаться. Я считаю — одобрить Арефьева.

И теперь-то встал Смирнов, топорщившийся, надувающийся и с трудом прикрывавший свою трепещущую, злую радость скорбной торжественностью. Он одернул гимнастерку, надулся и начал печальным голосом:

— Я смотрю на это дело несколько дальше, чем товарищ Васильев. И мне очень прискорбно... очень прискорбно, что наш дорогой товарищ Арефьев не поступает с нами, как товарищ. Мы все ответственные, как и товарищ Арефьев, и разве не обидно иметь за свои заслуги дисциплинарный батальон? Я считаю, что наше бюро должно просить товарища начальника никаких мер не принимать, а само выступить с увещанием к товарищам.

— Мое мнение такое же... — сказал густо с места Медовой.

Слово взял Шалавин.

— Товарищи-друзи, — начал он, — надо поступать по справедливости, а мы по справедливости не поступаем. Вот Николай Иванович здсь высказывался очень как будто за справедливость, а если посмотрим, как он делает, то получится совсем наоборот. Потому что он сам не хочет заниматься, а ведь не маленький, вот сн и кипятится, стыдно ему признать, что виноват. А партия не посмотрит, она тебе прикажет, и ты, голубчик, будешь делать.

— Партии подчинюсь, — бюрократизму нет, — сказал с места Смирнов.

Арефьев спокоен, холодно смуглое лицо и безмятежны глаза.

— Голосуй, отец, — сказал Коваль Злыдневу, — предлагаю прекратить прения.

— Голосуют члены бюро, кандидатам голоса нет, — сказал Смирнов, поглядывая на Васильева злым и веселым взглядом.

— За предложение товарища Арефьева, — спросил Злыднев и поднял руку. В ответ поднялась только рука Шалавина,

— За предложение товарища Смирнова, — две руки поднялись вверх. Медовой поколебался и тоже поднял руку.

— Прошло предложение товарища Смирнова, — сказал, сердито нахохлившись, Злыднев. — Грош цена в базарный день такому бюро, которое принимает такие предложения.

Все зашумели. И опять металлический холод арефьевского голоса:

— Имейте в виду, товарищи, что я буду поступать так, как мне это предписывает мой разум коммуниста и инструкции. Приказ я завтра отдам.

На несколько секунд все замолчали, и Смирнов спросил тихим и нежным голосом:

— Это обозначает, что товарищ Арефьев с нами не хочет работать?

Арефьев сделал шаг вперед:

— Если бюро... будет предпринимать... дезорганизаторские действия... работать я с ним... не буду.

Опять все зашумели. Что-то злобно взвизгнул Смирнов. Шалавин, двигая стулья, с какими-то словами уговора шагнул к Арефьеву. Но Арефьев круто повернулся и вышел из комнаты.

●

В блеске рыжих волос, в плеске звонкого голоса, в пылании лица Сережи Косихина точно отражалась нарастающая мировая революция, о которой говорили собранию ячейки РКП его взволнованные слова.

«Умный парнишка, — думал Арефьев, следя за ходом его пересказа статьи из последнего номера «Коммунистического Интернационала» об экономическом кризисе Британской империи, — и говорит хорошо».

Председательствовал Смирнов. Он не слушал доклада, ждал своей очереди в текущих делах сделать заявление от имени бюро.

В начале собрания перекинулись они с Арефьевым мгновенным взглядом, и Арефьев уже ждал со стороны Смирнова выпада и готовил контр-атаку, но казалось ему, что Смирнов опять, как и в бюро, одержит победу. «Масса всегда масса, и она пойдет за демагогом».

Кончился доклад. Косихин ушел с кафедры, и костер возбуждения догорает на его лице. Арефьев знает, сейчас

встанет Смирнов. И правда, Смирнов встает, изображает на лице своем печальное удивление и говорит:

— У нас имеется налицо неприятный факт расхождения промежду бюро и начальника из-за приказа, сегодня зачитанного на проверке, об наказании не посещающих. Мы считаем, что раз на курсы собрались лучшие наши боевые комиссары и все партийные, то можно б провести это сознательно на общем собрании, потому что непосещение может иметь причинами утомление и болезнь.

Но товарищ Арефьев не подчинился, не подчинились постановке вопроса, которую дало бюро — и вот он приказ.

Я считаю, что мы должны разъяснить товарищу Арефьеву, что ему надлежит бросить старые привычки и работать вместе с партией.

Арефьев сидит в переднем ряду, сзади него молчит собрание. И Арефьев понимает это молчание, как поддержку Смирнова. И в нем поднимается злое желание: «Наперекор этой тупой массе говорить бы и говорить холодные и уравнивающие слова. Пусть только кто-нибудь выскажется».

Тяжелой поступью входит на трибуну Гладких. Вот он встал на кафедру и показал собранию свое бестрепетное широкоскулое лицо.

— Смирнов, верно, думает, вот-де, мол, какие мы умные... однако, я бы поганой метлой гнал такое бюро, которое стало бы вмешиваться в мою работу, как комиссара. Партийные мы или же беспартийные, однако Арефьеву одно дело — начальствовать. Раз он над нами поставлен... — помолчал немного Гладких и добавил с жестким смешком: — А нето бы устроили у нас на курсах республику, вроде с выборным президентом...

Ступая всей широкой ступней, под гул и смех собрания, ушел Гладких с кафедры. В этом гуле и смехе Смирнов безошибочно учуял поддержку Гладких. Он был ошарашен. И так же, но только радостно, был ошарашен Арефьев. Его глаза заблестели, на щеках появился неяркий румянец.

А перед собранием уже встала большая фигура Шалавина:

— Вот это верно сказал товарищ Гладких, — истинно верно,

— Однако, ты сам, Дмитрий Лукич, где был, когда решали? Сам ведь член бюро, — крикнул Гладких с места.

Собрание опять широко захохотало и загудело.

— Дорогие товарищи, почтенное собрание. Николай Иваныч не откажет сказать, что мы с товарищем Злыдневым шли напротив него. Разделилось у нас два на три. Ну, верно, ошиблись, ребята. Теперь у нас пойдет гладко. Каждый был комиссар, и каждый знает, что ячейка над комиссаром не властна, а если мы товарищем Арефьевым недовольны, то тогда по партлинии мы можем просить об его снятии. Но подумай, каждый поступил бы как он. Верно. Ну... я кончил. А бюро вы, товарищи, должны сказать: действуй, ребята, осторожно. Раз дано доверие, стало быть, держись. От.

Едва Шалавин кончил, уже оправившийся Смирнов заговорил:

— Товарищи — бюро постановило...

— Голосуй, — крикнул Гладких, — слышали.

— Товарищи...

— Голосуй, — негоумко сказал Медовой с передней скамьи. — Голосуй, Николай Иваныч. Ошиблись мы — верно.

— Кто за предложение бюро об укрощении бюрократизму?

— Это какого же бюрократизму?

— Да ладно, пусть голосует.

— Голосуй!

— Прошу поднять руку. Раз... Два... Четыре... Шесть. Кто против?

— Ну, ладно, чего считать...

Собрание уже пело медлительный, сдерживающий свои рвущиеся силы «Интернационал». Лобичев внимательно, точно в первый раз, разглядывал неподалеку от него стоящего однорукого комиссара Кононова, вспоминал предложенный им список бюро и покачивал одобрительно головой.

Арефьев, задумавшись, шел по темному двору. В его ушах еще звучали слова о последнем решительном бое. Словно впервые видел он эти серьезные поющие лица,

Ведь ждал борьбы с «массой», а борьба эта не произошла, и поэтому странно ворошилась неожиданная обида. — ему даже выступить не пришлось... Собрание... это не стихия... неужели же это мудрая многоголовая машина, нашедшая верный путь и без его властной команды?

— Я не ожидал, — вдруг сказал он рядом шедшим с ним Лобичеву и Миндлову.

— Чего? — спросил Лобичев.

— Того, что собрание станет на мою сторону. Я думал, Смирнов увлечет...

— Ну... — точно обидевшись за собрание, сказал Лобичев. — Как же иначе...

Арефьев покачал головой. Умом он знал, что на курсах цвет политсостава округа, лучшие коммунисты армии.

Но между ними и собой он всегда чувствовал невидимую преграду, и комиссары все же представлялись ему скорее «массой», «стихией», предметом военно-административного воздействия, но не товарищеской сознательной организацией. Он всегда чувствовал себя одиноким, но чувство это не убавляло решительности и твердости его распоряжений. Наоборот, оно еще больше укрепляло их.

И хотя Арефьев за социализм был и в ссылке и в дисциплинарном батальоне, и хотя рабочий класс был для него «мессией, создателем нового человечества», но вырос Арефьев в дворянской семье, но кончил он кадетский корпус, но женился он на купеческой дочке, и когда уставал, отдыхать он шел не к рабочим, а инстинктивно искал людей «своего круга».

И поэтому сказал он — только Миндлову, точно не видел того, что Лобичев тоже здесь:

— Пойдем ко мне, Миндлов, чаем напою.

Окно арефьевской комнаты освещает листву сирени. Стало быть, приехала жена. А растревоженному своими, непонятными ей, думами, сейчас ему не хочется быть наедине с ней...

— Гоша!

Она, светлоглазая, широкая и рослая, от совместной и долгой жизни неуловимо чем-то похожая на него, чуть поднялась на цыпочки и поцеловала его щеку.

— Иосиф Эмильевич! Добрый вечер. Ах, как вы скверно выглядите.

У нее певучий северо-русский говор и полная белая рука, овитая браслетом.

— Ну, как, имеете вести от Лии Борисовны?

— Да... то-есть, нет, но... — залепетал смутившийся Миндлов. Смутился он потому, что сегодня в полдень получил самодельный конверт. Адрес написан простыми, широкими и круглыми буквами, и защемило сладко сердце, ведь письмо от Лии. Но курсы живут своей суетливой, сухой, как стрекот пишущей машинки, жизнью, а письмо ведь столькожданное, а так хочется забыть обо всем, целиком погрузиться в него... поэтому он, не распечатывая, но не забывая о нем, носил его в боковом кармане. И целый день не распечатывал его: так порой собака долго носит кость, ища, где бы поотянуться и грызть ее спокойно и не торопясь.

— Ничего... поправляется.

— Поправится, Иосиф Эмильевич. Солнце и море — это такие врачи, знаете, у меня была тетя...

Миндлов присел к столу. Арефьев оглядел комнату. Все оставалось попопеежному, и Наталия Васильевна с собой привезла только корзину, зеркало и блестящий эмалированный чайник. Да еще коврик на стене, над кроватью Арефьева. Но как несколько морщинок изменяют лицо человека, так и комната Арефьева стала иною.

Наталия Васильевна быстро двигалась по комнате, что-то делала и вела с Миндловым тот дамский разговор, который является только упражнением для языка, для мускулов лица и голосовых связок. Да еще, пожалуй, для второстепенных мозговых центров. В нем нет смысла, и его можно часами вести без малейшего усилия.

И, слушая однословные ответы Миндлова и опять певучие слова жены, интонации которой можно наперед предсказать, Арефьев думал о том, что она, которую он ждал, поехала, и опять вокруг него атмосфера его брака. Уйдет Миндлов, и будет какая-нибудь ссора, потому что не может он вести бессмысленный разговор ни о чем, а она в первый день потребует, чтобы он с ней горорил. Но о чем с ней говорить?

А ночью будет другое: ласки, горячая близость ее тела,

моменты забвения себя и ее, а потом ее шопотливые воспоминания о днях первой любви, ее горячее дыхание в его сочное ухо.

«Здравствуй, мой милый Ося!»

Ну, вот я уже получила твое письмо и пишу по другому адресу. У меня все по-старому, живу в той же светлой комнате, из которой тебе писала первое письмо. Погода очень хорошая, и по утрам за окнами пальмы шелестят своими вырезанными листьями, которые похожи на модные веера, которые висели у нас в шляпном магазине на стене. Я на них все время смотрю, потому что нельзя выходить. И как я обрадовалась, что ты сюда приедешь! Всю болезнь куда-то унесло. Вот хорошо нам будет вдвоем! Ты здесь очень отдохнешь и поправишься. Да и мне будет лучше. Я чувствую себя очень скучно, потому что одна, остальные все товарищи очень хорошие, но я их боюсь, потому что они хотя ласковые, но умные.

Опять некоторые смеются, что я завиваю волосы, имею внешность барышни, они не понимают, что наша жизнь модистки тоже тяжелая, и что нас хозяйки утесняли так, что нам хуже было, чем другим рабочим. Очень мне хочется, чтобы ты приехал, потому что ты хорошо объясняешь для меня, я тебя не боюсь, а других боюсь, и потому не понимаю, что они говорят. Главное, очень татар здешних притесняет местная советская власть, дважды берет с них разверстку и совсем не по-коммунистически с ними обходится. Здесь среди де-вушек-прислуг есть одна татарка, я с ней всегда провожу время, ну и вот она мне рассказывала.

Ты вот приедешь и напишешь заявление, да и сам поможешь и заступишься. Вот и писать нечего. Когда я начала писать, думала, не хватит трех листов почтовой бумаги, так было к тебе много, а сейчас смотрю — и написала мало, и писать нечего, а в груди так же густо, точно ничего не написала. До скорого свидания, милый мой, любимый. . .

Лия Соркина».

Миндлов прочел раз, прочел другой, ласково улыбнулся и что-то бормотал себе под нос. Вначале не важен был смысл слов, важны были самые не совсем грамотные, но такие знакомые обороты, запах ее простых дешевых духов. Потом он понял ее мысли, потому что столько раз слышал их от нее. Он глубоко задумался, глядя в черноту окна. Свежий вечерний воздух овеивал его горячий, потный лоб. Странное сомнение тревожило его, казалось ему, что Розов не приходил с ним говорить и не брал с него слова оставаться на курсах.

Тогда почему бы не пойти к командующему и не потре-

бовать отпуска, тогда он увидит Лию... а заместителем оставить Лобичева.

А тебе, Носиф, может, придется умереть на курсах», — так отчетливо Миндлов вспомнил эту фразу, что ему показалось, как будто монотонный голос Розова сказал ее откуда-то из стены. Миндлов вздрогнул. «Нет — это было. Слово дано. Путь выбран». И, бормоча что-то и улыбаясь, Миндлов стал раздеваться.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Звонкий голос его наполняет всю залу, а сам он невысок, лыс, и острые его глаза под блестящей выпуклостью очков.

И солнце развесило по стенам трепещущие тени листвы, и еще не прикрытые краской угодники, насупившись, слушают новые слова, и лица неподвижно сидящих на партах комиссаров отблесками различных мыслей и чувств делают этот зал похожим на широкий ковер нависшего над степью осеннего неба, на котором пестры изменчивые облака, и медленно несет их ветер, но кажется, что ходят они по своей воле. И как застывшие дымчатые клубы облаков, прекрасны невысказанные мысли и чувства слушающих лекцию людей.

Слушая звонкие слова лектора, Васильев точно впервые видит весь мир, раньше наполненный осязаемо-плотными вещами, крепко впитавшими в себя свои качества — цвета, запахи и вкусы; теперь этот мир как бы стал прозрачным, словно сквозь здания, утварь, одежду и ставший неотделимой частью существа каждодневный, кислый и черный хлеб — видны тысячи тысяч других предметов, движущихся по определенным, точно природным законам...

— Товарное хозяйство, — машинально вслед за лектором шепчет Васильев. Впервые слушает он теоретическую экономию. Раньше его острый, жадный к новому, ум рабочего столичного города не раз уже отважно пускался в самостоятельный путь. Но сразу же Васильев наткнулся на плотные, осязаемые свойства предметов, это повергало его тревожную натуру в состояние бессильной злости. И только сейчас, на этой лекции, неясным мыслям, которые ходили

в его мозгу, как люди в темной комнате ходят, наталкиваясь на различные предметы, только сейчас этот звонкий голос дал им в руки фонарь.

И он радовался лекции, как музыкант радуется впервые слышимой, но родственной его существу пьесе, в которой наперед чувствуются повороты ритма.

А Громов совсем не понимает блестящих слов. Питает он к ним многолетнее недоверие. За свою недолгую, но мучительную жизнь Громов привык, что раз блестящие слова — значит, фальшь. И здесь фальшь. Какая, Громов не знает, но, наклонив вперед голову, он тяжело ворочает в себе разобитые чувства и с неприязнью косится на желтые блестящие полуботинки лектора.

И на них же смотрит Афанасий Коваль. Коваль тоже не понимает лекции. Привык он к словам простым, крепким и связанным с действием, быстро следующим за словами. Сам Коваль живет в этих словах, как крепкая репка в теплой и черной огородной земле. «А эти слова? Они совсем ни к чему». Коваль слушает только пестрые перемены голоса, и когда ему слышится в этом голосе откуда-то изнутри освещающая непонятные слова веселость, тогда Коваль улыбается и следит, как желтые полуботинки задорно притоптывают на одном месте.

Рядом быстро скрипит карандашом, не успевая за словами, бойкий и прилежный Левинсон, раньше сапожный подмастерье в местечке, а после революции комиссар батальона. Смирнов глубокомысленно и тяжело смотрит в рот лектору, в его рыжие с сединой усы. На большом и умном лице Шалавина внимание; не успевает он за быстрым и уверенным лётком лекторской мысли.

Не все, правда, понимает Шалавин. Из всей лекции схватывает он одну мысль, но запоминает ее крепко, чтобы потом на досуге над ней хорошенько размыслить.

В эту лекцию он поймал одно, что каждый товар это сгусток труда. . . «Ишь ты, сгусток», — шепчет он и ласково гладит облупившуюся парту. Эта мысль кажется ему такой своей, точно он ее уже знал, но не имел слов для нее.

А у Герасименко в боковом кармане лежит вчера утром полученное и несколько раз уже перечитанное письмо. В этом письме — родные и нужные слова: «Митруня. . . Золотце. . .

Буренка не даст молока... зарезали... телку на весну поведем к случке». И еще... «сохнет молодость, Митруня, как трава в непогодное лето»...

— Таким образом три топора эквивалентны — десяти горшкам, пяти пудам овса...

Упоминание об этих таких родных, кровных предметах домашнего обихода так ярко напоминает двор при хате, с клуней¹ и палисадом, что Герасименко не может более терпеть и, стараясь не стучать, выходит и идет через пустой, побелевший от жары двор прямо в канцелярию курсов. Сердце бьется, радость колеблет его.

В канцелярии тихо. Изнывающая муха с тоской бьется о непонятное стекло, и в тон ей, так же заунывно и тихо напевает Миндлов какую-то песнь, неосознанно рождающуюся в нем. И в такт ей раскачивается он над простыней, расписания, вписывает в квадраты времени и пространства фамилии преподавателей.

Поднял глаза: перед ним знакомый по гарнизону, смуглолицый, стройный Герасименко.

— Ну-с, кавэскадрон?² Что новенького?

«Добр, — думает Герасименко: — А вдруг отпустит?» И «вдруг» превращается в уверенность.

— Я до вас лично, товарищ Миндлов: Товарищ Арефьев объясняли на проверке — насчет отпусков накладывается запрещение. Но я до вас, товарищ Миндлов, как вы меня знаете, то, может, уговорите об исходатайствовании мне отпуска для устройства домашних дел. На две недельки, а то исполком обижают, и опять же корова...

— По жене соскучился? — спросил почему-то Иосиф, может, потому, что и у него в боковом кармане лежит милованное, целованное письмо.

Взгляды перебросили мостик взаимного понимания, и Герасименко сказал горестно:

— Три года женатый я, товарищ Миндлов, и не более как два месяца с нею жил, ей-бо.

— Нельзя, товарищ Герасименко. По окончании курсов

¹ Клуня — рига; строение для молотьбы.

² Кавэскадрон — кавалерийский эскадрон.

(Прим. авт.)

каждый получает месячный отпуск. Арефьев обещал, так и будет.

— Не могу я. Апатия¹ у меня, — тихо сказал Герасименко и к окну отвел свои синие, в золотых лучах ресниц, глаза.

У Миндлова сердце дрогнуло. «Может, правда, поговорить с Арефьевым? Да нет — бесполезно. И несправедливо. Ведь Герасименко не первый просится»...

— Нельзя: Помни, Герасименко, ты коммунист...

— Эх, товарищ Миндлов, отпустите меня. Приеду — как учиться начну, право! А то ведь я не учусь. И такая апатия, даже не ем. Ребята удивляются.

— А чудак ты, Герасименко: тебе говоришь, а ты все свое.

Оба молчат. Герасименко нервно скребет большим ногтем край стола. Как муха, не видя стекла, бьется в него и изнывает в тоске, так и Герасименко не понимает, почему же нельзя ему сесть на поезд и — туда, на родную теплую сторонку.

Герасименко махнул рукой и вышел на двор. Лекция уже кончилась, грохотал барабан, комиссары, разминаясь после долгого сидения за партами, оживленно сновали с полотенцами по двору, плескалась вода в умывальниках. Краснолицые, с волосами, словно покрытыми росой, они бежали потом к кухне, быстро строили хвост и перебрасывались веселыми не надоедающими шутками, обязательными перед обедом, как судок с пряностями, — к семейному обывательскому столу.

— Смотри, друг, котелок не съешь.

— А что сегодня дают?

— Суп ратотуй, кругом капуста...

— Хо-хо!

— Ишь, тебя как повариха любит, сколь воблы положила.

Герасименко, машинально вставший было в хвост, услышав о вобле, ощутил еще большую тоску и злобу, тихо-нечко чертыхнулся и вернулся в здание. Там тихо и пусто. Вот и койка его. Над ней — рядом с Марксом — светлогла-

¹ Апатия — вялость, равнодушие.

зая, непривычно по-городскому одетая женщина, и фотографические бесцветные очертания ее лица наливаются для Герасименко такой теплой и родной жизнью.

И повалился Герасименко ничком на кровать и зарыл он голову в подушку, и блестящие, чуть запыленные сапоги с час были неподвижны. После обеда обязательный двухчасовой отдых. Комиссары быстро приходят, ложатся по своим койкам, и в храпе и сопении кругом только ноет бессонное сердце Герасименко.

Рядом скрип сапог. Герасименко получает крепкий шлепок по задку и с матюком поднимает свое воспаленное лицо. Видит склонившуюся над собой ряшку¹ Ковалю, солнечный блеск его глаз и белозубую улыбку.

— Это ведь не по уставу, — зашептал он, подмигивая и усаживаясь рядом с Герасименко. — Где в уставе сказано, что человек спит схова²в² рыло, а этим местом кверху? Нет у тебя уважения к начальству.

— А, мать его, — устав... — уныло сказал Герасименко, — тоска, Опонас, ой, лыхо.

— И мене, братику. Математика — еще так-сяк, а как дело идет до политики, ну хоть брось. Як лекция була, ничего не раскумекал, — сказал он шопотом и с веселым удивлением. — А я политиком себя считал и все своего спеца наставлял... — Он помолчал немного, а потом таинственно склонился к уху Герасименко:

— А я тебя искал, Митрусь. Там к Смирнову шофер пришел и шпыртику принес. Так я за тобой — пойдем.

Герасименко в раздумьи качал головой. Коваль положил ему руку на плечо и посмотрел хитро сочувственным взглядом.

— Що, Митрусь, страдаемо, страдаемо? Надо хоть кровь отполировать. Верно.

— А, мать его так-растак, — пиишлы!... — и Герасименко с веселым и отчаянным лицом вскакивает с постели, затягивает пояс и вперед Ковалю быстро идет к двери.

Шофер этот возил Смирнова в бытность его комиссаром дивизии, и с тех пор у них дружба, скрепленная сов-

¹ Ряшка — лицо.

² Сховать — спрятать.

местно испытанными опасностями. Вчера они встретились у дверей штаогра. Смирнов рассказал свою горечь и обиды.

Шофер глубоко посочувствовал — и принес с собою в общежитие плосконький бидончик, который удобно положить за пояс для того, чтобы воровским манером вынести за ворота спирт. Бидончик был холодный от спирта и приятно тяжелел в жадных и ласковых руках.

У шофера острые, как у кошки глаза, обветренное лицо и уверенный рот. Смирнов знал, что опасно и нехорошо пить в общежитии, но злость толкала бросить вызов ненавистному Арефьеву и его торжествующим порядкам. Да и выпить опять же давно хотелось. А риска влопаться все-таки мало. Смирнов, Коваль и Михалев втроем помещались в маленькой комнате в самом конце коридора, около черной лестницы. Но по лестнице этой никто не ходит.

Шофер мастерски оперировал приготовлениями к выпивке, извлек из кармана мятые соленые огурцы и маленький пузырек с анисовыми каплями, все это аккуратно поставил на ящике, вместо стола, стоящем в проходе между кроватями Ковалья и Смирнова.

Но оживления, предвещавшего веселую пьянку, не было, и тянулся вялый разговор о всевозможных напитках и способах питья.

— Политура — чего ж, — примирительно сказал Коваль, — политура годится. Денатур я считаю вредней. Он на глаза кидается.

— Политура, она ядовитее, — перебил шофер. — Но... ее очищать можно, — добавил он таинственно. — дать отстояться; сверху спирт, его слить, а внизу как раз этот самый яд и останется... Мы к этому привышны. У нас чем ни травят, мы все равно очищаем.

— Ну, начнем, ребята! — сказал Смирнов.

— Начнем, — согласился шофер. — У вас, верно, скус деликатный. Я вам разбавлю. — И он разливал аккуратно по кружкам воду и спирт. — А мы... — и он склонил над своей кружкой короткое горлышко бидона, и оттуда с мерным, ласковым бульканьем потек спирт. В другую кружку он налил воды, не отпуская ее из руки, поднес он кружку со спиртом ко рту и одним разом опрокинул ее в себя и быстро запил водой.

Ребята с остановившимися лицами смотрели на него, а он крякнул, захрустел огурцом, на его глаза набежала слеза, и мужественные, глубокие морщины его лица словно сразу набухли.

— Ну, здоров... — сказал Коваль не без зависти.

— А дай-ка, я так же, — неожиданно предложил Герасименко.

— С непривычки можете задохнуться, — сказал шофер. — К этому большой привык требуется: Ежели до воды схватите воздуху в себя, то можете до крови горло выкашлять.

— Да что, право, — сказал Герасименко, — чай не маленький...

— Брось, брось, Митрусь, — сказал Коваль, — ты на него не смотри, что он это так легко делает, у него специальность выработана. Давай-ка лучше по маленькой!

Шофер капнул в каждую кружку анисовки. Звякнули кружками и захрустели огурцами. Шофер выжидательно оглядывал ребят и ждал одобрения своему напитку. И, отвечая на его взгляд, сказал Коваль:

— Брр. Ну, и дермо. А ведь за радость пить считаем!

— Нет, — сказал Смирнов, — я люблю авто-коньячок. Правда, лучше николаевской, — а, как, Сережа? — он хлопнул шофера по плечу.

— А ну еще!

Бул, буль, буль.

Глот, глот, глот.

— Кхе, чорт.

— А ну, дай огурчик.

— И крепка, стерва.

— Хорош.

— Эх, Сережа, — это Смирнов шоферу, — старый мой дружок. Было времечко, покатались мы с тобой по раздольным шоссе. Сколь было. Дай, милок, я тебя поцелую.

Герасименко, сразу намокший от спирта, как сухарь в воде, заслунувшим ртом шептал Ковалю:

— ... Я говорю ему: товарищ Миндлов, понимай мое сердце. А он: товарищ Герасименко, сам, грит, по жинке страдаю. Истинный бог, не вру. И вот поглядел я вокруг —

и до чего мне обидно стало, как наш брат коммунист страдает... глаза б на свет не глядели.

— Сережа, а помнишь, сукин сын, когда мост разбили, а ты хотел машину бросить. Что тебе тогда сказал начдив твой Смирнов? Помнишь, сукин сын?

Мать, мать, мать.

— Легче, ребята, — сказал Михалев. — Орем очень, накличем кого.

— Никого я не боюсь, — болтал Смирнов. — Чтоб я подчинился какому-то офицеришке, я, Смирнов Николай, кавалер ордена первой степени?

— Ишь, — насмешливо сказал Коваль, — чисто говорит. Хоть сейчас на собрание. А ну, выпьем еще за красно войско, да нашу отвагу героysку! Налей!

— Не плещи.

— Ну...

Глот, глот, глот.

— Хорош!

Каждый пьянел по-своему и наивно обнаруживал прикрытые свои свойства. Маленький, щуплый Михалев, положив нога на ногу, улыбаясь, шурился на зелень за окном, которая в хмелю казалась особенно яркой, и с нежностью думал о себе, точно со стороны на себя глядя. Смирнов бестолково пучил глаза, и мысли его скакали в разные стороны, как тяжеловесные кузнечики скачут из-под ног, когда вечерней порой идешь по лугу. Он запотел, жила на лбу его надулась, и он скинул гимнастерку.

— Офицерская душа, шкура, — бормотал он, вспоминая Арефьева.

Герасименко был нежен, обнимал Ковалья и Михалева и бормотал что-то ласковым украинским говором.

Шофер Сережа тоже скинул кожанку. После третьей ребята уже не могли сами наливать. А у Сережи попрежнему бестрепетна шоферская клешня, и он, не проливая, разливает всем и, аккуратно считая капли, прибавляет анисовки.

Коваль от водки повеселел. Его глаза поблескивают, но разговор не потерял связности.

— А ты верно говоришь, Николай Иванович: он — офицер форменный. Я их могу узнавать. Ты мне поставь сто

людей голых — я оттуда всех офицерей выберу, как меченых.

— Хвастаешь! — сказал Михалев и надменно улыбнулся.

Коваль посмотрел на него искоса, насмешливо и добродушно.

— Дурак! Да ведь я чекист. Другого человека когда еще перепутаю, но офицера — всегда узнаю. Потому — практика. Сколько я их израсходовал в восемнадцатом, когда они из центра тикали к генералам.

Шукали мы их в поездах. Сядешь от станции и всю публику пересмотришь. Ну, есть дурные, переодеться — переоденется, а сам... либо прутиком себя по брюкам похлопывает, здоровкается — козыряет, а сам в котелке. Опять же и с женщинами у них обращение особое. И походка выказывает.

Но тут один едет — ни за что не скажешь, что офицер, похоже студент, все на нем мягкое, ходит вразвалку, кепка на затылке, а мне по морде кажется, что он офицер. Чую — а все берет сомненье, уцепиться не за что. Вышел я в коридор. Он ко мне стоит спиной и глядит в окно. Хотел я было пройти мимо, ну на всякий случай оглянул его и вижу, он каблучком о каблучок постукивает. Ботинки у него какие-то кривые со шнурками. И вот стою я и посмеиваюсь, как это он ими один об другой поколачивает, словно бы на нем этакие сапожки со шпорами. И он ими в задумчивости такой позвякивает... Ну, подошел к нему, закурил, разговор у нас, он мне наворачивает, а я слушаю. Но подходим к станции, а я ему: «Ваше благородие, пики козыри ход с бубей, пожалте к коменданту». Он ругался всяко, но как его потом разобрали, то оказался подполковник и бежал к Дутову. Во, брат!

А на Арефьева посмеялся я на бюро. Сидит это он, спокойный как будто, а сам, видно, горячится, и вот руки у него со шлемом то так, то сяк его перекаладуют. Ну вот покажи, как ты шлем положишь? Либо вот так, — и Коваль положил шлем на бок, — либо так, — и он поставил его остреем вверх, — ну, шлем отличен от фуражки тем, что ты фуражку доньшко книзу положишь, а шлем не положишь, остреем мешает. Так вот Арефьев слушает Смирнова,

и сам укладает на столе иadem и никак не может его уложить громометром книзу. И так и так он его клал, потом взял острее по внутрь продвинул — и все же положил, как хотел. Настойчивый человек.

— Ну, и что же? — спросил Смирнов, несколько раз прерывавшийся прервать Ковалю.

— А то, что он офицер: их в военном училище учат, что когда фуражку снимаешь, то класть ее так, чтобы перчатки было куда положить, донышко книзу.

— Офицерская свора! Товарищи друзья, прошли наши дни, втираются к власти золотопогонники, — зашумел Смирнов, которому давно уже наскучил оживленный рассказ Ковалю. Спирт бродил по его крепкому телу и возбуждал злые чувства к ненавистному Арефьеву.

— Тише ты! — сказал Михалев. — А вот, Коваль, про меня ты знаешь, кто я есть?

Коваль метнул на Михалева быстрый, небрежно насмешливый взгляд, но промолчал.

— Я дворянской крови, — сказал важно Михалев. — Мой папан был генерал и князь, а маман у них жила губернантикой детей. Вот от их я и родился и был подброшен в воспитательный.

— Откуда ж тебе известно тогда об отце и матери? — спросил Коваль.

Михалев обвел ребят мутным взглядом.

— Об этом долгий рассказ и не при таких обстоятельствах.

Если бы ребята попросили, Михалев, конечно, рассказал бы сразу, но никто не просил. Михалев, засучив рукав, показал ребятам свою тоненькую и белую, прошитую голубыми жилками руку.

— Вот видите, какая у меня кость тонкая.

Ребята переглянулись, и Коваль, насмешливо щурясь, сказал:

— А я считаю, что ты либо канцелярской породы, либо поповский последыш, которого батя творил на последнюю плоть. Да чорт с ними, с твоими отцами и матерями! Завел вольнику. А ну, налей, Сережа!

По коридору раздались шаги, и в дверях показался кудрявый, пухлый юноша. Густой румянец его щек заливал

даже шею и лоб, и, несмотря на молодость, у него было маленькое брюшко.

Это был недавно начавший работать группрук Реховский.

— Лобичева не видели, товарищи? — спросил он, приближаясь к ребятам. Те, не отвечая, смотрели ему навстречу.

Реховский посмотрел на их красные, смущенные лица, на откушенный огурец в руке Коваля, на чайник, на бидончик. Его лицо сразу побагровело и покрылось мельчайшим жарким и жгущим кожу потом.

«Что теперь делать? Они пьют... Сказать им, что это нехорошо, не по-коммунистически?» Но он не мог. Ведь сказать им — значит, надо довести до сведения бюро и сказать Арефьеву. Стало быть, они к нему будут плохо настроены...

Секунды две Реховский стоял неподвижно, потом, пробормотав что-то, ушел. Ребята облегченно расправились.

— Фу, — сказал Смирнов, — ну, и напугал, щенок, ладно, чорт с ним!

— А он заметил... Да ладно, чорт с ним — не скажет.

— Теперь крой.

— Один пришел, больше не будет... А ну, наливай, ребята!



Комната Миндлова — узкая и длинная, точно коридор. Одно в ней высокое окно, под ним стол, там в беспорядке программа, конспекты лекций и куча раскрытых книг.

Летний день печет в открытое окно. Блестят свежевыбеленные стены комнаты, и, судорожно скрючившись, постукивая и скрипя зубами, спит Миндлов, и в голове его — такой же многодневный запущенный беспорядок, как и на его столе, где одинока под пыльным стеклом фотография девушки, продолговаты ее черные глаза, и кудрявый завиток лег на щеку.

Проснувшись, на нее устремил свой взгляд Миндлов; как всегда, она улыбается ему и напоминает о прошлом счастье, когда была она такой же здоровой, как здесь изображена; это было там, на юге... А Ефим Розов... курсы...

Сразу заработала мысль: «Завтра истмат начинается. Сегодня расписание переделал, надо посмотреть — повесил ли его Лобичев, а то утром опять недоразумение будет».

Миндлов быстрой рукой пригладил давно не чесанные волосы, так же небрежно оправил кровать и вышел из комнаты, стараясь не видеть ее. Он не любит ее. Бессонные ночи, когда жаркие мечты о жизни, о Лии перемежаются с отчаяньем, и судорожно сжимает горло страх смерти, бесследного исчезновения. Раньше о ней никогда и не думал, а теперь...

Лучшие минуты проходят в кабинете, в группах, в аудиториях, где работа властно вытесняет болезнь — в темные закоулки мозга.

Вышел на двор. Белая жара. В тени здания, на бревнах одинокий Косихин с книгой.

— Лобичева не видел, Сережа?

— Нет, товарищ Миндлов, не видел.

Миндлов вступает в прохладное здание, все в нем спит, и одинок топот его ног по каменным лестницам и блестящему линолеуму коридора. «А вот расписание. Лобичев повесил». Миндлов хочет уходить, но вдруг из конца коридора он слышит, как звонкий голос что-то поет по-украински. Эта песня настойчиво рвет тяжелую ткань послеобеденного сна и зовет Миндлова к себе. Улыбнувшись, он идет на голос.

«Дверь, другая, третья... Эге, да это из той маленькой комнаты, где живут Коваль и Смирнов»...

Миндлов вошел. Песня внезапно прекратилась, и Герасименко застыл с открытым ртом. «Верно, после сегодняшнего», — сочувственно подумал Миндлов.

— Что, с горя поешь? — спросил он его и, сев рядом на постель, обнял теплую и влажную шею Герасименко.

Герасименко внезапно странно всхлипнул и сказал:

— Уйди от нас, товарищ Миндлов, уйди, милый ты человек! — Он отстранился от руки Миндлова и ничком упал на подушку.

— Что с ним? — недоуменно спросил Миндлов и тут только заметил, как красны и неподвижны лица ребят. Смирнов — без гимнастерки, верно, от жары.

— Скучает... — неопределенно сказал Коваль.

— Хотите чаю... чайку с нами, товарищ Миндлов? —

неожиданно спросил Смирнов, хотя на столе чайника не было.

— Нет, спасибо. Читали доклад Троцкого в сегодняшней газете?

— Я прочел, — сказал Смирнов, — здорово он все это... удумал...

— Одно слово — печальник наш, — сказал Михалев. Миндлов прищурил на него глаза. Михалев багрово покраснел, поперхнулся и засуетился. А на Миндлова напала болезненная задумчивость. Тихо покачиваясь, сидел он на кровати и щурил глаза. Ребята переглянулись.

— Вы чего же не отдыхаете? — очнувшись, спросил Миндлов.

Никто ничего не ответил. Посмотрев на их лица, бросив взгляд на посуду, на незнакомого парня в шоферской грязной кепке, Миндлов почувствовал, что происходит что-то очень странное и не совсем хорошее, но не понял что. Ему захотелось уйти, и, пожелав всего хорошего, он вышел из комнаты.

Ребята вздохнули со стоном.

— Это что ж? — сказал Коваль. — То цел день никого нема, а тут пошли один за одним.

— Чего там! Двое прошло, третьему не быть. Сиди, сиди, Сережа, — говорил Смирнов.

— Нет, я пошел, Николай Иваныч, — сказал Сережа, натягивая кожанку, — а то как бы чего плохого не вышло.

— Сиди, сиди... больше никто не пойдет.

— Ну, это что за пьянка, — сказал Коваль.

Пьянка шла на убыль, как вода в канавах после дождя. Сережа попрощался со всеми и, видимо, удерживаясь от пьяной качки, осторожно вышел.

— Ребята, а Миндлов-то ничего не заметил, — серьезно и трезво сказал Герасименко, подняв от подушки свое лицо. — Нет, ребята, я больше пить не буду. Совесть он у меня поднял. Бросай все к чорту. Неладно мы затеяли. Сидит и не замечает! Разве можно такое охальство представить?

— Замазепил... — сказал Смирнов неприязненно.

— А чи не притворялся он? — спросил Коваль.

— Какой притворялся — под самым носом ведь кружка стояла, а он. . .

— Святой потому что человек, наш товарищ Миндлов, — умилился Смирнов, — но мы через его святость спаслись, а потому, товарищи, поддержи по последней.

— Нет, прячь посуду.

Герасименко быстро убрал все, что стояло на столе, вытер газетой ящик.

— Отдай кружку, Николай Иванович, будет.

— А не отдам. Допью — отдам.

— Возьми у него, Михалев, — сказал Герасименко, хватая его за руку. Михалев схватил Смирнова за другую. . . и враз все трое застыли, устремив глаза на дверь. Коваль быстро оглянулся и увидел в дверях спокойный облик Арефьева.

За все время работы курсов Арефьев первый раз улучил свободное время обойти в час отдыха общежитие. Обход подходил к концу. . .

Смирнов поставил кружку на подоконник позади своей кровати.

— Войди к нам, товарищ Арефьев, — сказал он, — присядь к нам. Потому, хотя мы с вами спорим, но вам рады как гостю.

Арефьев секунду постоял, потом подошел, взял кружку с подоконника и понюхал ее.

— Это в помещении курсов? — спросил он со спокойной удивляющейся яростью, глядя на остолбеневшие лица ребят. Круто повернулся и вышел.

— Дежурный, сюда! — раздался в тишине коридора его звонкий голос.

Медовой после тяжелого сна шел к рукомойнику облить лицо. До сна были тяжелые мысли, ломало Медового с того партсобрания, как провалили Смирнова. Была в нем глубокая, самому непонятная, нелюбовь к Арефьеву и такая же непонятная привязанность к бузотерам — Смирнову и Ковалю. Умом он понимал, что они не правы, что они мешают учиться, но трудно было преодолеть силу товарищеского влечения, а внутренняя борьба не оставляла и во сне, и теперь точно продолжением сонных мыслей были встреченные

в коридоре ребята, которых под винтовками вели в гимназический, много лет заброшенный, карцер.

— Что такое? — спросил непроснувшийся Медовой дежурного по школе Хазибекова, у которого бесстрастное, плоское, как валун, лицо.

— За пьянство в помещении курсов, товарищ Медовой. Иди на экстренное собрание бюро!

Мелькнули мрачные лица ребят, и вот уже гул шагов невянятно раздается из-за поворота коридора. Медовой, с полотенцем в руках, не обмыв лица, через пышащий вечерним жаром двор, пошел в кабинет Арефьева, где собрались остальные члены бюро ячейки.

Шалавин по-стариковски охал и разводил руками. Голубые выцветшие глаза Злыднева прятали серьезную и печальную думу. Лобичев был угрюм, может, от жары, безжалостно лившейся в окна. Так же угрюм и зол был Васильев. Сегодняшняя лекция зажгла его мозг так, что он не мог заснуть после обеда. С блестящими глазами и лихорадочно горевшими щеками пробродил он два часа по двору, дожидаясь, когда начнутся вечерние занятия в группах. И вдруг — эта история. Как можно на курсах пьянствовать? И от непонимания этого поступка злоба на участников пьянки мешала спокойно сидеть, и он постукивал каблуком и покусывал губы. Пришел Арефьев, за ним растерянный Миндлов. Несколько раз Миндлов мешал говорить Арефьеву своими нервными вопросами:

— Кто бы мог подумать? Я там был за несколько минут до Арефьева, и они не пили... И как это случилось...

— Нет, они пили при вас, — сухо сказал Арефьев.

Миндлов изумленно застыл, потом хлопнул себя по лбу.

— Ой-ой! Ведь у них лежали огурцы, и даже мне показалось, что пахнет спиртом... Да разве я мог предположить. Ой-ой-ой!...

— Итак, товарищи, я думаю, что бюро должно разобратся немедленно же в происшедшем инциденте, поскольку все товарищи — члены партии, а также члены бюро... говорил Арефьев, игнорируя охи Миндлова. Были его слова кратки и официальные, ни одного жалкого слова не сказал Арефьев, но так жестоко он говорил, что его немотивированный вывод — всех исключить из партии и снять с кур-

сов — не встретил ни с чьей стороны протеста, и только Васильев коротко и зло добавил с места:

— Правильно, правильно.

Тогда выступил Лобичев. Говорил он со злобой, отворачиваясь к окну, точно хотел показать, что в комнате нет тех, на кого он злобится.

— Верно, товарищи, мы все должны Арефьеву помогать делать то большое и важное партийное дело, которому он предназначен. Ребята же как нарочно ставят ему палки в колеса. Это так недопустимо. Я понимаю, что нам предлагает Арефьев. Вполне понимаю. Но надо еще посмотреть на этот факт по-иному. А ну, товарищи, скажем откровенно. Разве Коваль и Герасименко, да даже и Смирнов — у нас худшие из коммунистов?

Он обвел всех взглядом, и все точно молча ответили ему, и он только с силой подтвердил:

— Верно, товарищи, они не худшие! А я бы сказал наоборот: у нас есть на курсах такие ползучие гады, что... А эти ребята — горлодеры и бузильшики, но они из лучших, ну, к примеру, из второго сорта. А у нас есть и пятого и шестого.

— Вот правильно, — сказал с места Медовой.

И Злыднев как бы про себя сказал:

— Верно, я все об этом думал, а ты верные слова нашел, — и глаза его стали ласковы.

— Прошу не перебивать, — сказал Шалавин, но сам одобрительно кивнул головой.

Арефьев неподвижен и прям за высокой спинкой кресла.

— Я продолжаю, товарищи. Но у меня иное предложение. Оставить их членами партии и на курсах, но объявить партийный выговор и просить командующего сделать выговор в приказе по округу: они ведь службисты, и это их ударит сильно. — Все глаза устремились на Арефьева. Он приложил к уху трубку полевого телефона и накручивал ручку звонка.

— Квартиру командующего... Говорит Арефьев... Товарищ командующий, получили вы мой срочный секретный рапорт? ... Ваш ответ... слушаюсь.

Арефьев положил трубку. Все напояженно ждали.

— В общих чертах ответ командующего сходится с предложением товарища Лобичева. Я остаюсь при особом мнении. Для разбора дела командующий обещал приехать сам.

●

Дверь захлопнулась, и ребята очутились в полутемном гимназическом карцере. Сначала все немного помолчали. Недоуменно выматерился Смирнов, а Герасименко заговорил с расстановкой, глядя в землю. Он сидел на корточках, прислонившись спиной к стенке. Остальные лежали на полу, расстелив шинель.

— В каземате я в последний раз сидел, захваченный беляками и ждал себе доблестной смерти за то, что делал достойное коммуниста. А сейчас... вот, хлопцы, нашкодили¹ мы, як коты. Надо сказать, хворменно и охвициально, подло это у нас вышло.

И Коваль подтвердил:

— Верно! А ведь мы с тобой, Николай Иванович, члены бюро...

— Эх, мазепы, — ядовито сказал Смирнов. — Труса празднуете. А вот мы с Яшей ничего не боимся. Верно Яша? — И он обнял Михалева. Тот уныло молчал.

— Глуп ты, Коля, как чурбан, с явным сожалением и как бы без насмешки сказал Коваль.

Переругивались до вечера. Смирнов спервоначала петушился, но когда хмель отыграл, сдал и он.

Вечер в полуподвальном помещении наступил рано, и потому скоро уснули.

А утром, сразу после невеселого, опохмельного чая, услышали у двери голоса Миндлова, Арефьева и командующего.

Но вошел в карцер только командующий. Был он, как всегда, спокоен и весел, но ребята знали, именно такой спокойно-веселый он отдавал на фронте распоряжения о расстрелах изменивших спецов или сдрейфивших² комиссаров, и это спокойное веселье было жестоко-равнодушно, как игра солнца на полой, грозно затопляющей поля и деревни, весенней воде.

¹ Нашкодили — набедокурили.

² Сдрейфил — струсил.

Смирнов, совсем уже протрезвевший, своей недалекой хитростью прикинул, что раз командующий пришел сам, стало быть, дело не так уж скверно, и он стал врать о случайной встрече, о меланхолии. . . Ребята угрюмо молчали, и командующий, как бы прислушавшись к их молчанию, с первых слов его прервал:

— Вот что, Николай Иванович. Об этом мы поговорим после, а сейчас давай напрямки — что ты, хочешь плетью обух перешибать?

— Товарищ Арефьев. . .

— Ты Арефьева оставь. Арефьев свое дело делает. А ты вот не делаешь. Тебя, Смирнова Николая, партия послала учиться, и ты кочевряжишься?

Он выждал несколько секунд. Смирнов упрямо молчал.

— Ой, Коля, — грозно и сильно сказал командующий, — ой, Коля! Ты видишь, я по старой дружбе и по твоим заслугам с тобой разговариваю, но имей в виду, мы сейчас поворачиваем и большой крен даем, поэтому будем балласт сбрасывать. Ты это себе помни. Чистка-то не за горами.

У Смирнова дернулись губы и щеки, и глаза словно поплыли по лицу; он то открывал рот, как будто для ответа, то опять закрывал его.

— Меня исключить?

Командующий ничего не ответил, только взглянул, и, поняв его взгляд, предостерегающий, добродушный и жестокий, Смирнов вскочил и быстро заходил по маленькому карцеру, натыкаясь на стены. А командующий перевел глаза на Ковалю, и Коваль сказал ему, не дожидаясь жестоко-правдивого вопроса:

— Товарищ Власов! Мы с Герасименко вполне чувствуем. Готовы нести наказание, но вину свою, как коммунисты, сознаем.

• — И я, — сказал Михалев. — Попутало-с. . .

Последнее слово заставило командующего насторожиться, и даже не слово, а именно это слово-ерик — «с».

Он остро взглянул на Михалева, на его тоненькое золотушное личико, в жалконькой улыбке показавшее испорченные зубы.

— Вы какую должность занимали?

— Ко... комиссар лазарета.

— Та-ак. Номер госпиталя? А... на фронте были... та-ак. А... сами-то откуда, кто родители?

— Из воспитательного я... — холодными губами прошептал Михалев.

— А-а, — потеплел голос командующего.

— Ну, пока всего, друзья! Я сейчас отдам распоряжение о том, чтобы вас выпустили. Но надо, чтобы я больше о вас не слышал.

Командующий вышел из карцера. Михалев мешком повалился на пол и закрыл голову шинелью.

— Вот-те и дворянская кровь, — не мог не сказать Коваль. печально, сочувственно и насмешливо мигнув Герасименко в сторону неподвижного Михалева.

Пьянка сильно перебила налаживающийся ритм курсовой жизни, много было разговора и перекоров, но вот уже отошла она в прошлое. В день освобождения выдали курсам новое обмундирование, и когда Смирнов, уже переодевший свой франтовской френч и галифе на красноармейскую летнюю одежду, вышел из вещесклада, и когда в такой же одежде увидел он Ковалю, то на секунду не узнал его. Привычно было видеть смеющуюся ряшку хохла под лихим кавалерийским козырем, а тут вдруг остроконечный шлем и аккуратный, точно накрахмаленный, отложной воротничок гимнастерки. И почувствовал Николай Иванович непреодолимость того порядка, арешковского порядка, протестом против которого была пьянка.

И, верно, это же почувствовал Коваль, потому что круто отвернулся он от Смирнова, и разошлись они в разные стороны. На поверке и на очередном партсобрании были зачитаны выговоры. Присмирившие участники пьянки опять были включены в курсовой обиход с его политлекциями, общеобразовательными уроками, горячей проработкой в группах, с короткими отдыхами, крепким сном и несытой быстрой едой.

И внешне точно никаких следов не осталось от пьянки...

В эту золотую пору летнего вечера, когда уставшее солнце не в силах расстаться с занятой землей и словно медлит уходить, на дворе курсов гимнастерки зеленеют

тепло и ярко, как говор и смех ребят, кучками сидящих на крылечке, на бревнах, на длинной скамье, на истоптанной и примятой траве.

Кончил сегодня Лобичев брошюру Ленина «Государство и революция», своими краткими и крепкими фразами пересказывает он Косихину то, как ее понял. Лежат они на траве. Косихин эту книгу уже знает; задумчиво слушает он Лобичева, смотря на небо, и о чем-то раздумывает.

За эти месяцы Косихин уже вошел в ритм школы и не замечал его. Первое время было не так: все эти военные порядки, от которых был так далек, воспринимал он с восхищением и страхом. Но потом наступило тяжелое время, когда новизна ощущений исчезла, и размеренная жизнь курсов, после наэлектризованной атмосферы губкомолы, стала казаться отвратительной и монотонной.

Он готов был бежать с курсов, и если бы не самолюбие, он давно бы пошел в губкомол, к победившим в склоке товарищам, и попросился бы обратно на комсомольскую работу.

Но Сергей Косихин был очень горд, и, тихонько поплавав один раз в подушку, он пересилил в себе это чувство, а через несколько недель ощутил себя неразрывной частью курсов.

Из новых товарищей особенно сошелся он с Лобичевым, который привлекал его своим революционным опытом и деловой сноровкой, инстинктивным большевистским складом мозга.

Да и Лобичев полюбил Косихина ласковым чувством старшего товарища. К тому же Косихин был начитаннее Лобичева в марксистской литературе. Его молодая еще невзнузданная мысль своими фантастическими прыжками порой давала им пищу для споров.

Вот и сейчас слушал Сергей, слушал ленинское учение о государстве и, по неожиданной ассоциации, вдруг спросил Лобичева:

— А как ты думаешь, в коммунистическом обществе духи вырабатываются будут?

— Это ты к чему? — переспросил ошеломленный Лобичев.

— Ну, душиться будут? Я думаю, что нет. Ведь дур-

ные запахи порождаются тем, что у нас общественная жизнь не налажена и что люди неряшливы. А тогда. . .

Лобичев стал с интересом прислушиваться, но вдруг его внимание прервала другая простая и острая мысль:

— И к чему ты себе, Сережка, дурить голову такими вопросами?

Сережка не отвечал. Положив свою медноволосую голову на руки, он смотрел в калитку, в которую вошли. . .

Бывают в красноармейских клубах потертые черные стулья, кое-где хранящие позолоту. Так же и на двух вошедших следы бывлой позолоты сохранились. . . У одного, маленького и задорного, она проглядывает — гимназической синей фуражкой да вицмундирчиком из-под штатского, чересчур длинного и широкого, явно с чужого плеча, пальто. У другого, высокого, сутулого и бледного — сказывается поношенной гимназической шинелью, накинутой на покатые плечи. С ними были две девицы: черные вьющиеся волосы оведали розовое лицо одной, другая была нежно бледна и водяниста, как капля голубой акварели в стакане воды. Обе они охорашивались и оживленно показывали себя, чувствуя на себе взгляды многих молодых мужчин. Черненькая задорно хохотала, беленькая обмахивалась книгой. Навстречу им, опустив голову и выпятив брюшко, смущенно улыбаясь и бросая косые взгляды на Лобачева и Косихина, шел Реховский.

— А, инок! Вот, значит, твой монастырь, — развязно, стараясь скрыть свою робость перед незнакомыми и, может, насмехающимися глазами, сказал маленький, картаво и громко, на весь слушающий двор.

Девицы хохотали, картавый голос продолжал какую-то замысловатую, затейливую шутку. Реховский смущенно разводил руками и невесело улыбался Миндлову, который вышел на крыльцо, как будто вызванный фальшивыми звуками, ворвавшимися в стройную симфонию курсов.

— Ну, идите, — сказала черноглазая и взяла под руку Реховского. — Вас приходится так упрашивать.

— Идем, инок коммунистического монастыря, — сказал картавый и взял его под руку с другой стороны. Они ушли со двора, и опять стал обычный вечерний отдых на курсах: кучки людей на дворе, золотой блеск закатных окон, и де-

журный на кухне, с тесаком¹ на поясе, идет с каптенармусом на кухню, а за ними кашевары несут провизию к завтрашнему обеду.

На середину двора вышел веселый и ясный, как этот вечер, чисто выбритый Медовой. За ним следовал широкий, бочковатый Гладких.

У обоих в руках короткие деревянные чурки и длинные рюхи. Медовой веселым взглядом окинул двор и зычно крикнул:

— Генеральной матч, чемпион Сибири Гладких против чемпиона мира Медового. Ребята, делись в городки.

— Рюхи, — по-своему перевел Гладких и пояснил командирским своим басом: — Эй, братва, мы с товарищем Медовым за маток. Однако, делись — в два счета.

Двор зашевелился, заговорили, засмеялись. Вставали с травы, потягивались и подходили к «маткам».

— Пойдем, Сережка, ударим, — сказал Лобичев, поднимаясь.

— Я не умею, — говорил Косихин.

— Чего тут уметь, научись!

Чурки и рюхи Гладких нашел в заброшенном сарайчике, и теперь почти каждый вечер гремели они по земле, высоко взбивая пыль, и со двора неслись веселые возгласы.

Медовой и Гладких были лучшими бойцами. Перед их ослепительным соперничеством меркла мелкая борьба других, скромно занявших места рядовых в армиях двух боющихся героев.

Делились. С перекурами договаривались об условиях. И вот Гладких аккуратно зачертил на избитой земле роковой квадрат и с кряхтением старательно ставил фигуру — бутылку.

Противная партия кричала:

— Ты чего же, Гладких, зарываешь ее, што ль?

— Это он над ней колдует...

— Хватит, товарищ Гладких, отойди!

¹ Тесак — холодное оружие с прямым широким и обоюдоострым концом.

— Пусть его, — говорит Медовой с снисходительной насмешкой, — мы погодим.

— Уже поставил, — сказал Гладких, разгибаясь и поднимая от земли налившееся кровью широкое лицо, — а ну, бей, товарищ Медовой!

Медовой вышел и выставил ногу к черте — начал примеряться. Почти не двигая тела и чуть прищуря левый глаз, он, крепко держа рюху, еле заметно двигал кистью. Обе партии, затаив дыхание, следили за еле заметными колебаниями рюхи. Игра только начиналась, азарта еще не было, и каждый забывал интерес своей партии и с замирающим сердцем ждал удара. И вот Медовой точно вспыхнул, глаза его расширились, длинная рука разогнулась, перебросила от плеча к кисти тот заряд силы, который определили прошлые игры, и рюха коршуном полетела в противный город, ударила в самое дно бутылки; чурки испуганной стайкой лягушек прыгнули вверх, а рюха, прокатившись по земле, догнала их и выбила за пределы круга. На черте осталась только одна.

— Вот это удар!

— Знай наших!

— Сила, Медовой-то. Шампиньон.

Говорила одна партия. А другая смущенно отвечала:

— Да...

— Ничего... придет наш черед.

— Не хвались, едучи на рать... — громко и спокойно сказал Гладких. — Ваяйте дальше.

И игра с блистательными победами и горькими поражениями, с упорной мелочной борьбой, когда целый кон иногда проходил в том, что партия выбивала одну злосчастную чурку, лежавшую у самого края города, чурку, перед которой пасовали лучшие игроки, — игра, такая же простая и так же наполненная борьбой, как и наша жизнь, отразившая ее, как та борьба, которую три года с такой же здоровой жадностью вели эти комиссары по широкому лицу страны, — овладела всем двором.

Лица потны и пыльны. Головы точно под хмельком. Ладони мозольны от грубо струганных палок. Вровень идут партии, и, почти не замахиваясь рукой, бросая вперед все тело, бьет Гладких, и легко, часто поверху, летит удар Ко-

валя, и несоразмерно силен удар Смирнова, и размерен, но слишком низок, удар Лобичева, удар, после которого всегда поднимается облаком пыль.

Сейчас Лобичев отличился последней своей рюхой, «отпечатал письмо», ударил в середину последней, самой трудной фигуры, под торжествующие крики своей партии выбил из городка неприметную чурку и торжествующе пошел он присесть сбоку на траву.

Гаснет закат. Темнеет. Почти не виден неприятельский город. . . Лобичев осмотрелся и увидел Миндлова и Косихина, наблюдающих за игрой. Подошел к ним.

— Видали, как ударил? Чемпионский удар. — От него вяло жаром и потом. Глаза его блестели. — Видал? — спросил он Косихина.

— Хорошо, — сказал Косихин. — Эх, и мне бы так!

— Научись, — ободрял его Лобичев. — Ведь у меня практика с того времени, как вот такой был, сам не больше рюхи.

Миндлов, глядя на него, ощутил мгновенную зависть к нему и жалость к себе. Его тощее слабогрудое, вялое тело разве могло быть для него источником такой радости, как для Лобичева.

— Да, видел, здорово! — сказал он.

— Здравствуйте, Иосиф Эмильевич, — услышал он вдруг сбоку певучий голос.

— Здравствуйте, Наталья Васильевна. — Он пожал ее теплую, звенящую браслетами руку.

— Что, любуетесь на игры ваших питомцев? — спросила она с чутошной усмешкой. — А комиссара-то моего не видели?

— Нет, — резко ответил Миндлов.

— Вы товарища Арефьева спрашиваете? — вмешался Лобичев. — Он сразу после ужина к командующему ушел.

— Мерси, — сказала она, пристально вглядываясь в Лобичева. Потом опять повернулась к Миндлову. — Когда будете писать письмо Лии Борисовне, поклонитесь ей от меня.

Пожав руку Миндлову и кивнув Лобичеву, она пошла домой. Лобичев поглядел ей вслед, как она уходила, легко ступая по земле и чуть раскачивая широкие бедра.

— Ну, и баба у Арефьева, — сказал Лобичев, — вот нам бы с тобой такую. Сережка. — И он игриво толкнул Косихина кулаком под бок. Кровь стремительно обегала его тело и зажигала озорные желания.

— И что, право, мы за монахи, ребята. Вон и к Реховскому какая краля черненькая приходила. . .

Миндлов пожал плечами, и губы его сделали пренебрежительное вековечное еврейское — пст. . .

А Сережка, подумав, вдруг с мальчишеской серьезностью, совсем не в тон Лобичеву сказал:

— Таких мне баб не нужно, как у Арефьева и у Реховского. Ну, скажите, ребята, как же может коммунист, такой, как Арефьев, жить с такой? Ведь она барыня. Она, небось, на нас и не смотрит. «Питомцы», — передразнил он. — Что это за тон к слушателям курсов? За каждого из них сколько таких баб отдать можно! И чего с ней Арефьев связался?

— Молод ты, Сергей, — с усмешкой сказал Лобичев. — Ничего ты не понимаешь. Что ему с ней, истматом заниматься? Эх-хе, хе, голубеночек. — Он крепкими руками ласково мял Косихина.

— Я тоже не понимаю Арефьева, — вступился Миндлов. — Я о своей семье, о своем сытом детстве, о том, что у нас прислугу эксплуатировали и, скажем, сами ели один хлеб, а прислуге давали другой, вспоминаю с ненавистью. Говорю я об этом так свободно только потому, что я ушел от всего этого, и меня претит. . . от какой-нибудь гардины или, скажем, кресла потому, что такое же кресло стояло в нашей буржуйской квартире, а Арефьев целые дни имеет около себя источник такой буржуазности! Как он может? Вот, по-моему, о чем говорит Сергей.

— Правильно, — сказал Сергей. — Я удивляюсь на Арефьева, что он такой хороший коммунист, а с ней живет, а вот ты, Гриша, про Реховского сказал, — так он же сволочь.

— Почему сволочь? — с неудовольствием спросил Лобичев.

— Да ведь он проходил через комнату, где пьянка была, ее видел и промолчал.

— Откуда ты это заключаешь? — спросил Миндлов. — Вот я тоже там проходил, а ничего не видел.

Лобичев засмеялся:

— Ну, Миндлов, ты от своей святой жизни о таком никогда не догадаешься.

— Конечно, — продолжал Косихин, — а о нем я знаю. За минут пятнадцать до их ареста я сидел с книгой у черного входа, и вдруг оттуда выбегает Реховский, красный, потный, точно он что нехорошее сделал. Увидел меня — и совсем растерялся, залепетал что-то и ушел. Потом оттуда Миндлов вышел — ну обыкновенно как Миндлов — идет. думает. . .

И вот я считаю, он всю эту пьянку видел, но не решился сказать, потому что боится этих ребят. Разве так коммунист поступает?

— Ну, — недоверчиво сказал Лобичев, — это уж твои догадки. Вот ты, Сергей, часто говоришь необоснованно. . . хотя бы как сегодня о духах, так же и сейчас о Реховском.

Игра кончилась. На этот раз партия Медового проиграла и, по условию, возила на спинах победителей.

— Ну, и тяжел ты, чалдонский бог, — сказал голос Медового, когда грузный Гладких тяжело соскочил с его плеч. Двор жил веселым хохотом, проступили немногие летние звезды, ночь, как ласковая подруга, не пускала от себя, хотя время было спать, и барабан уже протрещал свой повелительный приказ.

«Ровно маленькие», — думал пренебрежительно Дегтяров, сидя на бревнах и слушая жизнь двора. Какую тяжелую враждебность чувствовал он ко всему этому порядку! То ли дело в полку!

И он боялся. Он боялся этого скопления коммунистов, этих постоянных партийных споров и политических лекций, бывших для него точно грозным напоминанием о неизбежности какой-то кары.

«Ах, как хорошо было в полку, где себе — царь и бог, где отдален от всех своим положением, и где есть отдельная квартира, в которой можно все прятать» . . .

Двое подошли, сели рядом, и Дегтярев прервал тайную мысль, словно боялся, что ее услышат. По голосам узнал: Шалавин и Медовой. Говорил Медовой:

— Я скажу, правильно, что их не исключили. Вот ты погляди хоть на меня, почему я стал весел? А потому я стал весел, что теперь я вижу ясно, куда идти, и свою жизнь установил как надо. А когда приехал, я был ихнего направления. С экзамена начал я, однако, сомневаться. А как грянула эта самая пьянка, тут я и встал на настоящую точку. Придет время, и они встанут, не все сразу. . . А ну, отец, закурим, — добавил он, доставая кисет и трепетным светом спички осветив свое горбоносое лицо, остренькую бородку, смелые губы.

Бывает так, сорвется с высокого берега пруда камень, исказит и поколеблет отражение сосен, неба и прибрежных кустов, и пойдут от него во все стороны круги. Но вот успокоится вода, и опять отражает она небо и белое облако на нем и зеленые берега. И, когда все успокоится, на той стороне чуть слышно, еле заметно шелохнется камыш. Ветра же нет, и шелохнулся он потому, что туда дошел первый, самый сильный всплеск камня.

Так и эти два разговора и мысли Косихина — о Реховском, и Медового о себе — были колебанием неприметных камышинок на успокоившейся жизни пруда.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Мутные стены, смутные голоса. В этом смутном надо разобраться: ее ли это голос? Разберешь и тогда разглядишь ее лицо и почувствуешь ее мягкую руку. Но вот из смутного выплывает другое лицо — острый подбородок, упрямо упершийся в воротник, и высокий лоб. Это Розов. Он о чем-то говорит. . . Но о чем? Громовой треск все смешал. . .

С легким стоном Миндлов просыпается. Еще одна ночь, полная бессмысленных и нелепых снов, миновала. Еще одно утро показало свой белый деловой лик. За стеной трещит барабан. В открытое окно плещут еще не растроченной утренней свежестью голоса ребят. И Миндлов, узнавая то тот, то другой голос, торопливо одевается и думает о работе.

Машина на полном ходу. Неделя за неделей регулируется она, с каждым днем все точнее и четче учебный оби-

ход и реже перебои в нем. Последний перебой был на прошлой неделе; чуть что не плача пришел Косихин в кабинет к Миндлову и заявил, что он отказывается от группы... Сил нет со Смирновым и Ковалем: плетут нивесть что, серьезного отношения нет к занятиям...

— Я их вышибу с курсов... Надоела мне эта волянка! — крикнул раздраженный Миндлов и хотел идти к Арефьеву, но Лобичев, мало слушавший разговор, сказал:

— Стой-ка, Миндлов! Поменяй нас с Сергеем. Моя-то группа мне не под силу, слишком недалеко вперед их я ушел. Сергей там будет в самый раз. А мне дай его группу. Я зубы-то им обломаю.

Так и сделал Миндлов. Целую неделю с другими руководителями работают эти группы. Кроме того, на прошлой неделе прислали нового руководителя — Гришина. Его на работе еще не видал.

Как части вновь собранной машины прирабатываются одна к другой, так группруки и группы прирабатываются и составляют одно целое.

И сегодня Миндлов еще раз обойдет все группы.

Напился Миндлов горячего морковного кофе, доел с вчера на сегодня взятый паек непропеченного черного хлеба, плеснул лицо водой — и сутулый, в поношенном френче без пуговиц, френче, за который Арефьев уже грозил гауптвахтой, щуря воспаленные глаза на солнце, высоко избежавшее над миром, пошел он через пустой двор в здание курсов.

В первом по коридору классе занимается Косихин. И как только Миндлов открыл дверь, он, по оживленным лицам, по блеску глаз, по непринужденным позам почувствовал сразу быстрый и веселый ритм работы. Косихин тряс рыжим пламенем волос, и они горели на солнце; звонко спрашивал он группу, и сразу ему откликались один или несколько; потом к доске вышел однорукий комиссар. Веселое солнце слепило жидким блеском доску, но он упрямо писал левой рукой формулы обмена товаров. Говорил он медленно, скучно, на несколько быстрых звонких вопросов Косихин давал один ответ, крепко скрепленный какой-либо из формул с доски.

Слушая ответ, Косихин перегибался слегка вперед и движениями головы, мягкими жестами рук точно помогал ему.

Кончил ответ однорукий, довольный собой чуть улыбнулся и сел.

И тогда стал Косихин очень ясно и просто объяснять дальше, делать подступ к товарному фетишизму, о котором предстояло ребятам услышать на следующей лекции. Состоит эта группа главным образом из развитых и молодых рабочих, и считается она первой по успешности.

Довольный, покачивая головой, вышел Миндлов из класса. Не знает он, что простота и ясность косихинских пересказов и объяснений куплена долгой немой работой. Кака металл на самое дно сосуда, так ум Сергея никнет в глубину вопроса, только с этой глубины может он осветить весь предмет.

Когда Миндлов вошел в класс, где занималась группа Лобичева, Коваль, стоявший, опираясь на парту и что-то говоривший, беспокойно скосил на него золотистый, ясный глаз.

— Продолжай, продолжай, — сказал ему Лобичев, здороваясь с Миндловым.

— Капитал, — продолжает Коваль, — то одна морока, и совсем ни к чему так учить, як тый лектор толкуе. Капитал-то каждый знает, что вин обозначает.

— А ну-ка — что? — спрашивает с любопытством Лобичев.

— Капитал, — продолжает Коваль, подперев бока, — щоб вин собрался, треба копыть. О це и есть капитал.

Миндлов глянул на Лобичева. Лобичев сидит на окне, как бы безучастно посматривает на двор, но чувствует Миндлов, что под маской его неподвижного лица дрожит трудно боримый смех. Лобичев еще долго слушает, как Коваль болтает дальше, и молчит. Вот Коваль истощил весь запас своего острого ума. Речь его становится все несвязней и несвязней. Миндлов начинает понимать тактику Лобичева. Если бы он вставил хоть одно слово, это дало бы новый материал для продолжения волынки. Но Лобичев упорно молчит, и ребята, раньше с сочувственным интересом слушавшие Ковалю, теперь зевают и все чаще посматривают на Лобичева. И, почувствовав, что внимание к его непонятному молчанию и недоброжелательство к Ковалю дошло до точки, Лобичев говорит тихо и серьезно:

— Очень, товарищи, получается складно и хорошо. Ведь Коваль открыл легкий способ изучения наук!

Изумление и жадное внимание появляются на лицах ребят. Коваль чувствует в похвале что-то неладное и смущенно улыбается.

— Вот, к примеру, человек болен чахоткой. Откуда произошла чахотка? Есть такая наука — медицина, которая составила за несколько сотен лет из наблюдений различных врачей над болезнями людей. Можно бы изучить эту науку и тогда узнать, откуда чахотка происходит. Но это слишком долго. У Ковалья более простой способ. Человек застудился, начинает чихать, вот и получается «чихотка», выходит, что она от простуды. Верно?

Теперь Коваль хочет что-то говорить, но Лобичев ему не дает.

— Вот, товарищи, вся теория Ковалья. Надо сказать — простая теория, а дурацкая и ничего не объясняет. Когда человек не хочет думать, он строит такие теории. Они вроде прикрывают незнание и нежелание знать.

— Мы из практики говорим, — вставляет Смирнов, — а не из книги. Что книги, я тебе целую библиотеку сочиню.

И опять Лобичев отвечает, и опять с ним спорят. Подобрались в этой группе самые боевые комиссары, бойкие и расторопные ребята, выкованные горячкой гражданской войны, выученные и спецовскими изменами, и кулацкими мятежами, и проклятой заразой анархической пропаганды, разлагающей армию. Через все это прошли они, все перенесли, и боевая комиссарская работа, когда рядом с военспецом, а когда — и без него, стала их профессией, и бесследно слияли следы былой профессии. Каждый из них за революцию накопил на жизни и смерти проверенный опыт, за него он твердо держался и с недоверием относился к опыту книжному, который на их глазах столько раз терпел постыдное крушение.

И эту болезнь группы — изобретать глупые и бездоказательные, но свои теоретические измышления — очень хорошо понимал Лобичев, потому что сам он был воспитан на революции и сразу понимал каждый изгиб юркой мысли, скрытой за хитрыми словами. И вот он, разбив Ковалья, сам дает научное определение капитала и приступает к объяс-

нению органического строения его. Говорит он не так гладко, как Косихин, но его местный говор, краткое и сильное строение каждого предложения, ясное истолкование каждого термина делают особо выразительной и понятной его речь.

Но эта понятность происходит от другого, чем у Косихина. Все, что Лобичев узнает из книг, он пересказывает своим ученикам, и знает он не больше того, что пересказывает. Понять самому и запомнить для Лобичева значит пересказать. Его большая, круглая голова это могучая передаточная станция, распределитель знания.

— А здорово, — среди объяснения шепнул Коваль Миндлову.

→ Я был забойщиком в Донбассе, и выходит, я был переменный капитал. От здорово, — сказал он, и в его голосе впервые послышалось восхищение перед научной системой, объяснившей и его живую жизнь.

Группой Лобичева Миндлов тоже остался доволен и направился в конец коридора, где занимался крестьянская по составу группа Реховского. Занятия здесь идут ровно и хорошо. Пухлый Реховский старательно объясняет, понятно спрашивает, так же старательно и понятно ему отвечают. И все-таки Миндлова что-то неумовимо тревожит, и это чувство он понял только к концу занятий, когда Реховский, исчерпав тему, спросил:

— Нет ли у вас вопросов? — и поднялся Гладких и с необыкновенной для него горячностью сказал:

— Товарищ Реховский, давеча вот вы объясняли насчет крестьянства, как товарищ Миндлов здесь, так он может наш спор порешить.

— Что ж, — беспокойно улыбаясь в сторону Миндлова, сказал Реховский, — спорить собственно нечего, вопрос ясен, но... ежели вы хотите и... он обернулся к Миндлову. — Дело вот в чем, товарищ Миндлов, в прошлой беседе коснулись мы попутно крестьянства. Ну, и когда я пояснил, что крестьянин — это мелкий буржуа, то товарищ Гладких стал со мной спорить и говорить, что крестьяне — это трудовой элемент и все равно, что пролетариат. Но я считаю, что это эсеровская концепция.

— Вот, слышите? — преувеличил Гладких, и лицо его пламенело тяжелым гневом. — В эсеры попали... А пораз-

мыслить, не нами ли все хозяйство Республики держится? Однако — мелкий буржуй. А что нам товарищ Ленин говорил, а ну, товарищ Миндлов, объясни!

— Ну, не горячись товарищ Гладких, — мягко сказал Миндлов. — Реховский совсем не для того, чтобы обидеть тебя и всех крестьян, сказал это. Ты, конечно, прав, что для пролетариата союз с крестьянством — это залог победы социалистической революции. Но, тем не менее, марксистское понимание классов причисляет крестьянство к элементам промежуточным... правда, в основной своей массе не эксплуатирующим чужого труда, но все-таки владеющим орудиями производства...

Порывисто вскочил с места другой, Клетов, высокий, бритолицый, синеглазый крестьянский парень. Его лицо покраснело от гнева, и поэтому особенно ясно выделялись на нем его белесые усики.

— Товарищ Миндлов, — сказал он, — вы бы полегче все-таки, вот мы здесь в группе все партийные и на три четверти крестьяне. Ежели мы мелкие буржуи, стали бы мы за советы, вошли бы мы в партию?

По группе шел шум и рокот, как в лесу при начале грозы.

— В партию принимали? Нужны были, вот и принимали! — резко крикнул желчный голос Дегтярева. — А теперь не нужны стали...

— Вот вы объясните, товарищ Миндлов, как же это так в партию-то нас приняли? — продолжает Клетов, упирая на довод, который кажется ему самым сильным, — а ну...

— Товарищи, — страстным своим голосом начинает Миндлов, — товарищи, наша партия в основе своей пролетарская, и надо прямо сказать, в первую голову мы принимаем в нее рабочего и батрака, а также и крестьянина-бедняка. Но мы не забываем, товарищи... — И Миндлов с горячностью разъясняет одно из любимых им положений марксизма о двух душах в крестьянстве, о борьбе этих двух душ, двух путей каждого крестьянина... И когда он кончает, среди общего молчания раздается только тяжелый и громкий голос Гладких.

— Но я, выходит, мелкий буржуй? — говорит он, как бы обращаясь к себе. — Но как же так?

Миндлов посмотрел на его лицо с надувшейся на лбу могучей жилой, на сумрачные лица остальных и сказал примирительно:

— И ничего не значит, товарищ Гладких. А я вот — интеллигент, да еще сын крупных буржуа, ну? Марксист должен четко сознавать в себе свою классовую сущность и понимать, что, делаясь коммунистом, надо принять точку зрения пролетариата. Понятно?

Группа молчала. Занятия пошли дальше так же гладко, но, глядя на эти сумрачные, точно что-то затаившие лица, на упрямо склонившиеся и прячущие глаза мужицкие головы, почувствовал Миндлов беспокойство. Видно, ни сиденье в окопах Западного фронта, ни прокуренные солдатские секции совдепов, ни маневренная лихорадка гражданской войны, ни, самое главное, многолетнее пребывание в рядах пролетарской партии еще не раскрестьянили этих ребят. Блестящие, скользкие слова Реховского и даже объяснения Миндлова точно шли по поверхности их жизни, не касаясь самой глубины; так по поверхности темной воды омута бегают долгоногие, ловкие комары.

Бормоча про себя, Миндлов вышел из класса. Верно ли объяснял? Как будто бы верно. И все-таки чего-то, какой-то мелочи, главного, которое в речах Ленина совсем по-другому освещает вопрос, он, очевидно, не сказал.

В коридоре Миндлов заметил Шалавина и еще одного пожилого комиссара. Они, увидев его, в замешательстве двинулись было прочь, но потом повернули ему навстречу. Поздоровались. Шалавин сказал, чуть пригибаясь к Миндлову:

— Дорогой товарищ Миндлов, что я тебе скажу, но пусть это не будет обида. — Он секунду помолчал. — Насчет товарища Гришина. Ученый он человек, но убери ты его от нас.

— Верно. Вот верно... — сказал пожилой комиссар и кивнул щетинистым подбородком.

— Он человек ученый, но вся его ученость получается для нас как непонятное, — ничего не понимаем.

— Верно, — опять сокрушенно сказал комиссар, — ох, верно!

— Очень тоска берет от его, да ты поди сам послушай.

Они вошли в класс, где занималась группа Гришина, и Миндлова сразу поразила разница настроения в этой группе и в группах предыдущих. Здесь так же, как и в классе Косихина, солнце лило в окна белые столбы света. Однако, там — оно оживляло молодые лица, блеск думающих глаз, трепет готовых заговорить губ.

Но как на клейкой бумаге бьется, мучится и застывает в мучительной истоме толпа мух, так в этой комнате сбились на парты в большинстве своем пожилые, наиболее старые и заслуженные комиссары. И странно было Миндлову видеть обычно твердые и умные лица в состоянии почти до слабоумия доходящей расслабленности.

И основной тон всему давал негромкий, чуть хриплый, похожий на голос, идущий из трубы граммофона, голос Гришина — маленького, бледного, словно обескровленного, с жидко блестящими от непроходящей слезы глазами. Миндлов попробовал разобраться в том, что говорил Гришин, но к ужасу своему убедился, что ничего не понимает. Ему казалось, что Гришин никак не может кончить одно длинное предложение, которое он начал до прихода Миндлова и которое он ведет все дальше, дальше и дальше, и вся группа в мучительном оцепенении ждет, что вот выражение его голоса изменится, и чудовищный период его речи придет к концу. Но вплоть до треска барабана, положившего конец занятиям, Миндлов так и не увидел голы гиганта-предложения.

— Вы очень непонятно объясняете, товарищ Гришин, — мягко сказал Миндлов, отозвав Гришина в сторону и пожимая его морщинистую ручку.

— Мне всегда это говорят... — печально вздохнул Гришин. — Я лекции читал в гарнизоне, и примите во внимание, красноармейцы разбегались, хотя и боялись меня как начальника.

Он вздохнул, погрустнел, и глаза его еще больше налились слезой.

— Примите во внимание, товарищ Миндлов, здесь... — он тронул узкою ладонью свою маленькую, сплюснутую с боков голову, — здесь — есть и такой полет, знаете, восторг великий испытываю. А сказать — не выходит.

Миндлов с любопытством разглядывал его и слушал его

монотонные слова, которые он ставил равномерно, как бабы сажат огурцы на ровном расстоянии один от другого.

— Ведь у товарища Розова, примите во внимание, нет доброжелательства к человеку, и на мои рапорты об откомандировании меня в социалистическую академию для специальных научных занятий они направляли меня сюда, и вследствие этого, примите во внимание, опять превратно пошла моя жизнь, как и шла до сих пор. Был я волостным писарем, которого должность назначалась в деревне к утешению крестьян, но уже тогда был смущаем своими мыслями, прежде всего, по божественной отрасли и даже интересовался некоторыми сектами. Познакомился, примите во внимание, на двадцать третьем году моей жизни с учением Карла Маркса и Фридриха Энгельса из уст одного ссыльного студента, и это учение я принял и стал исповедывать, потому что оно поразило меня обрисовкой закономерности и предначертанностью событий человеческой истории. Административно был я выслан в Тобольскую губернию, так как поп, ненавидевший меня, сделал донос. Однако, там я продолжал свое развитие ума под влиянием образованных марксистов, томившихся в неволе, примкнул я окончательно к РСДРП, но стоял вне фракций, считая мелочной борьбу между большевиками и меньшевиками. Но, примите во внимание, после Февраля сразу примкнул я к большевикам, потому что увидел, что меньшевики отступили от заветов учителей наших Маркса и Энгельса. Не буду вас утруждать перечнем должностей, кои я занимал с февраля семнадцатого. Вы можете ознакомиться с ними по анкете моей. Последняя должность моя была начпогарн,¹ должность, примите во внимание, требующая крайней суетливости и разбросанности, а мой склад ума приспособлен более всего к научной работе. К тому же она требует ораторских способностей, коих я лишен, примите во внимание.

Он с жалобным недоумением и замешательством глянул на Миндлова.

— Посему я и докучал в пуокр рапортами, но, примите во внимание, что у товарища Розова нет доброжелательства к человеку, на мои рапорта об откомандировании меня...

¹ Начпогарн — начальник политического отдела гарнизона.

Миндлов почти не слушал его слов, но тут он с ужасом уловил, что Гришин опять в тех же словах начинает снова свою речь, он прервал его и спросил:

— Какую же марксистскую литературу вы читали?

— Простудировал я первый и второй том «Капитала». «Нищету философии», а также исторические работы и письма, Энгельса — «Антидюринг» и «Людвиг Фейербах» — «Происхождение семьи» и опять же исторические работы, а также читал Каутского и Плеханова, все выпшедшее в России. Этих двух, примите во внимание, я в равной степени считаю нашими учителями, до того постыдного момента их биографии, когда они изменили светлым идеалам Интернационала. И, конечно, читал все научные, экономические и полемические работы нашего вождя, Владимира Ильича Ульянова-Ленина.

Миндлов с недоумением слушал. Перед ним был человек, не менее марксистски образованный, чем сам Миндлов, и все же впечатления такого от общения с ним не создавалось.

И в то же время Миндлов чувствовал доверие к Гришину, чувствовал, что этот человек не треплется и не врет.

Раздался бой барабана, перерыв кончился, и он, маленький, сухонький, тонконогий, засутулился и побрел к себе обратно в класс. А Миндлова потянуло спать. Ему казалось, что сон наваял на него этот однотонный разговор. Зевая, он пошел по коридору. Надо зайти на занятия еще двух групп. Здесь занимается группа Русина, молодого бойкого комсомольца, только еще мобилизованного в армию и получившего в обработку таких же, как он, юных ребят. А вон в стеклянное окно видны курчавые головы, — маленькая группа татар-башкир, с ними занимается Левинсон, мальчишка девятнадцати лет, такой же черный и курчавый, как они. Плохо говорит он по-русски, и только благодаря его оживленной и яркой жестикуляции он находит какие-то скрытые дороги в мозг своих иноязычных учеников.

Нет, Миндлов не может, каждый день нападает на него проклятая сонливость и на несколько часов валит его в кровать. Но обычно это бывает после обеда. А теперь.

о-ах, очевидно, из-за разговора с Гришиным. о-ах, она напала утром. О-ах, — громко зевает Миндлов, через знойный двор бредет он к себе, заваливается и вот уже спит со страдальчески открытым ртом.

●

Встретились перед дверями бюро и долго молча переглядывались. Были они в одной группе, и хотя мало знали друг друга, но по общим разговорам, толкам и спорам в группе догадывались друг о друге, какое дело привело к этим дверям, но с осторожностью крестьянской заговаривать оба не решались.

Дудырев присел на корточки у стены, округлились его синие рейтузы на крепких коленях, торопливо дымил он козьею ножкой.

Сизов стоял, вытянувшись у стены, заложив палец за ремень.

— Бюры дожидаетесь? — спросил осторожно Дудырев, и его скуластое лицо, на котором пушились казацкие усы, приняло совсем безразличное выражение, а мелкие острые глазки прищурились.

— Да, а вы?

— Тоже.

— По какому делу? — спросил Сизов, пригнувшись. Дудырев не ответил, но, подняв лицо, глянул в чернорыжую бороду Сизова и в его круглые золотисто-карие с лукавинкой глаза.

— Эх, земляк. Чего тут, по одному, верно, делу.

— Видимо, что так, — ответил Сизов и тяжело опустился на корточки рядом.

— Братан помер, — быстро шептал Дудырев, — а жинка пишет: сноха делиться хочет. Без мужеского совета тут нельзя. Разобьют хозяйство.

— Правильно, — поддакнул Сизов сочувственно, — а тут эти курсы... Что ж, наше дело не ждет, бабы поделятся, и хозяйству конец.

— А я вернусь, станицу по-своему поверну, самостоятельно начну работать, — и Дудырев вздохнул глубоко, — я, понятно, сочувствую, но не могу, чтобы хозяйство пропало.

— Верно, — поддакнул Сизов, — мы тоже вот Степной губернии. Землю у помещика Воротайского взяли, ну, а работать некому. Батю засекали чехи, брат — инвалид. Другой нивесть, где, нето в Чите, нето, бают в Китае. А хозяйство все на племяше, а ему четырнадцать годков. А мужики подушно ровнять будут.

— Хватит, — сказал Дудырев с сухостью в голосе. — навоевали. С германской войной выходит девять лет. Вот и остались из животины одна корова да жеребенок. Эх...

Он не успел кончить, дверь открылась, и голос Злыднева позвал их.

Вошли. Показалось, что портрет Ленина смотрит им навстречу внимательным взглядом. А Троцкий отворотился. Дудырев под пушистыми усами чуть виновато улыбается. Сизов спокоен и переступает с ноги на ногу.

— Как же, товарищи, — начал Злыднев тихо, — продержались вы в тяжелое время, а теперь уходите? Теперь, когда мы начинаем строить новое хозяйство, вы наутек?

Сизов потяжелел лицом и сказал:

— Хозяйство строить, говоришь, а не отпускаете... В деревню-то я еду, чай, не барствовать, тоже по хозяйству...

Васильев быстро перебил его:

— Ты, товарищ Сизов, говоришь о хозяйстве своем лично, а товарищ Злыднев говорит о нашем, общесоциалистическом хозяйстве.

— И вот партия говорит своему члену: ты нужен здесь, на этом посту, — сказал Злыднев и добавил тонко: — а ты наутек. Ну и выходит, что дезертир. — Оба молчали. У Дудырева быстро дергалась щека, и Лобичеву, присутствовавшему на бюро, казалось, что вот-вот он заплачет.

Сизов только сказал:

— Прочти мое заявление, товарищ Злыднев, там все обсказано. — Его лицо еще более потемнело и он повторил: — Прочти. Вы можете меня всяко ругать, но я свое знаю. Тут приложено письмо племяша моего, и вот он пишет: хозяйство приходит в раззор от недостатчи работников. Кулаки да дезертиры, они остались в деревне, и у них все идет ладно, а наши большевистские хозяйства гибнут.

Я не противник партии, и как был я бедняк и первый в нашей деревне стоял за советы, то так и останусь, но ска-

жу — ежели мужик о себе не подумает, о нем печальников не найдется.

Прошу, товарищи, увольте меня от этого дела, — добавил он и замолчал.

Члены бюро переглянулись, и Косихин, вместо Арефьева присутствовавший на бюро, подумал, что когда в человеке заговорит класс, никакими доводами его не переспоришь, человек тогда действует точно зачарованный.

— Бюро постановило вас усовестить, — сердито сказал Злыднев, — а не отнюдь держать силком. Не хотите — воля ваша, стою быть, ставим на общее собрание. Вопрос считаю исчерпанным.

Они ушли спокойные, непоколебленные.

— Мужичье, — едко сказал Васильев, когда затворилась дверь, — от их только партия чище станет, когда они уйдут.

Лобичев промолчал, но про себя не согласился. Живо вспомнил он хозяйство своей матери в той же губернии, откуда Сизов, и знал он, что плохо сейчас крестьянину-бедняку в деревне.

И точно еще один голос деревни прозвучал в бюро — циркуляр губкома о помощи голодающим.

В окна лилась мрачная беспощадная жара. Вот уже второй день небо скрыто тучами, но ни капли не падает на пошедшую трещинами землю, и город с окрестными пацнями и близкими деревнями точно засунут в громадную раскаленную, прогоревшую печь.

Заслушав циркуляр губкома, единогласно постановили принять отчисления еще четверти фунта на голодающих и сумрачно, не говоря друг с другом, разошлись.

Лобичев после заседания бюро задумчиво побрел в кабинет Миндлова. Он думал о том, что каждый день торопливый почтальон приносил самодельные конверты, а то и без конвертов приходили весточки, накарябанные на клочке завалящей бумаги. Получавшие письма замолкали, ходили понуро, не спали ночи.

Пока только два заявления подали, а что будет потом... Сегодня и Лобичев получил незаселое письмо. Не по-

слушали его и выдали сестру замуж за недоросля-полудиота, сына богатея-мужика, сохранившего, благодаря своей лисьей хитрости, хлеб и скотину, припрятавшего деньги.

Мать прямо так и пишет, что выдали ради хлеба.

— А ему даже поехать туда нельзя. . .

Привез бы сюда. . .

Скрипнул зубами от злости и хлопнул дверью кабинета.

Там он застал учителей общеобразовательных предметов. Учителя в потрепанных форменных сюртучках и серенькие учительницы ждали Миндлова и оживленно обсуждали перевод с фронтового на тыловой паек, который проделал завхоз, ссылаясь на какие-то приказы.

Учителя окружили Лобичева, математик меланхолично высчитывал уменьшение количества калорий в новом пайке, учительницы кокетливо и просительно улыбались. Лобичев пошел к завхозу и тут же восстановил попорченную справедливость, добился обратного перевода на фронтовой паек.

Потом пришли группруки. Обмениваясь впечатлениями от проработки, стали заполнять журнал курсов. Потом Лобичев опять остался один. Подождав немного Миндлова, он сам составил сводку учебной работы за день.

Незаметно, но с каждым днем все более и более, Миндлов помимо своей воли перекладывал работу на крепкие плечи Лобичева. Об этом они не уговаривались. Лобичев не отдавал себе отчета, почему при виде пустующего кабинета он сам садился в кресло Миндлова и за него начинал отдавать распоряжения. Он чувствовал, что Миндлов болен, почему-то не уходит с курсов, все силы, которые он имеет, он отдает работе, но, очевидно, его нехватает, и, не задумываясь, Лобичев, по глубоко заложенному чувству товарищества и сознания своей ответственности за работу, принимал ее день за днем в свои руки.

Так и сегодня. Составив сводку и опять тщетно прождав Миндлова до пяти часов вечера, Лобичев сам пошел отнести сводку в кабинет Арефьева.

Арефьева он застал за необычным делом. Тот склонился над толстой книгой, и Лобичев узнал в ней «Капитал», старинного издания. Отвечая на невысказанный вопрос Лобичева, Арефьев показывал отчеркнутые фразы:

— Вчера проходил я по залу, когда лекция полит-экономики была. Сдается мне — меньшевик он, этот ваш лектор.

— Да, бывший меньшевик, — ответил Лобичев, — но разве он что по-меньшевистски толкует?

Арефьев задумался.

— Видите ли, товарищ Лобичев, я, надо сказать, сам бывший меньшевик... — Он прямо смотрел в глаза Лобичеву своим смелым светло-серым, как сталь, взглядом. — Мне для того, чтоб большевиком стать, пришлось свою голову заново перестраивать. И вот я вам скажу, это теоретический вопрос, конечно, о производстве и воспроизводстве капитала, но я по нескольким фразам почувствовал в нем меньшевистский душок, а ведь не знал, что он меньшевик. — Арефьев довольно улыбался. Лобичев внимательно, точно впервые, разглядывал его продолговатое лицо и чистый, гладкий лоб.

— Я только не пойму, товарищ Арефьев, какой же меньшевизм в его словах? Мне кажется, он все вполне по-марксистски говорит.

— Видите, — раздумчиво говорил Арефьев, хлопая ладонью по книге, — я даже нарочно по «Капиталу» справлялся, — как будто бы все верно. Но... у меня тут, — он показал на нос, — осталось ощущение меньшевизма. Вот у его слов не могу вспомнить точно, как это он сказал...

Арефьев задумался, точно что-то припоминая, и поймал на себе любопытный взгляд Лобичева.

— Вам, Лобичев, этого не понять. Вы соприкоснулись с меньшевиками в тот период, когда они с себя сняли маску, и вы не знаете того времени, когда в каждом городе организация делилась на две части. Если бы зайти в то время на наши диспуты, показалось бы, что спорят сумасшедшие люди. Спорили о порядке слов, слова были те же, а вот как их поставить и как сказать. Вот у вас такого ощущения относительно меньшевиков никогда не будет... Ну, давайте сюда сводки!

— Скажите, товарищ Арефьев, что это у нас с Миндловым происходит. Что он, болен?

— Да.

— Почему он в отпуск не уходит?

— Не знаю. Два раза говорил я ему, чтобы он писал рапорт, и даже Розов говорил ему. Но таинственно улыбается и не подает. Берите сводки!

— До свиданья, товарищ Арефьев.

— Всего, товарищ Лобичев.

Лобичев повернулся, своей крепкой и легкой походкой ушел из комнаты, и не видел он того теплого взгляда, который Арефьев послал ему вслед.

«Хороший, деловой парень», — подумал он о Лобичеве, выделяя его из общей серой массы, которой он столько лет уже командовал.

А теперь надо идти домой. Но ведь сегодня утром поссорился с женой и знал, что сейчас его дома встретит злое и непреодолимое бабье упрямство. И он, о железной воле которого ходили рассказы по армии, чувствовал, что в данный момент обессилен и не может ссориться с ней.

Причиной ссоры было то, что Арефьев не желал писать заявления о предоставлении ему ответственного пайка. Будучи губвоенкомом, он им пользовался, но и сейчас, по должности начальника курсов, он тоже имел на него право. Однако, он чувствовал, что в голодную атмосферу курсов нельзя вносить струю разделения на сытое начальство и полуголодных слушателей. И после долгого разговора, когда и он и Наташа, оба очень спокойные люди, без крика каждый говорил свое и не понимал друг друга, точно говорили они на разных языках, такую отчужденность от нее чувствовал после этого Арефьев, что хотелось прийти домой и холодно сказать этой чужой женщине: «Зачем ты со мной? Уйди! Я тебя не знаю!».

Но знал он, что ничего из этого не выйдет, так как не раз он говорил такие слова, и они расходились, но страшная сила многолетней любовной привычки опять притягивала их друг к другу, происходило спокойно-радостное, как розовый летний восход, примирение... и опять все шло попрежнему. Так жили они, враги и нежнейшие друзья, из дня в день ведущие непрекращающуюся утомительную борьбу.

А раньше, еще до империалистической войны, — удивительное дело, — Арефьев не чувствовал отчуждения от Наташи и даже не думал о том, хорошо ли, что его Наталья

совсем не интересуется политикой — тем делом, которому он отдавал свою жизнь, — и даже не сравнивал ее с «идейными женами» некоторых своих товарищей, эсдеков и эсеров.

Наташа — это был спокойный отдых, без мыслей, и, может, потому особенно освежающий и укрепляющий.

Но империалистическая война его сильно переделала. Тогда дал трещину его меньшевизм. Он стал «пораженцем». ¹ В шестнадцатом его судили военно-полевым и послали в дисциплинарный, в семнадцатом опять сказалась меньшевистская выучка — был он один из крупнейших армейцев-меньшевиков.

А потом, после захвата власти большевиками, он после недолгого колебания пришел к ним, вначале добросовестно беспартийным специалистом, а потом вступил в партию и так проработал всю гражданскую войну, незаметно для себя перековываясь и переделываясь.

Кончилась гражданская, и после шести лет разлуки, изредка прерываемой неделями свиданий, опять поселился он с Наташей, и немалую поразило его ее обывательское брюзжание и наивно-хищнический подход к его высокой должности, как к выгодному и хлебному месту.

Так началась их борьба, в которой он пока твердо держал свою позицию, но совершенно не овладел позициями противника.

Он улыбнулся своему военному сравнению, воскрешавшему перед ним карту какого-то, еще в училище разобранного, сражения, и опять погрузился в «Капитал».

— Что сегодня, каша?

— Горох, Лобичев, горох.

— Это на двух, так мало?

— Маловато...

Долгожданный ужин исчез мгновенно, словно бы его не было. Косихин яростно скреб деревянной ложкой стены котелка.

¹ «Пораженцы» — сторонники поражения своей страны в эпоху империалистической войны.

— Давать стали мало, словно бы и не ел... — Лобичев задумчиво вытер ложку и бережно завернул ее в бумагу. — Дыру в котелке не проешь, — сказал он звеневшему яростно ложкой и котелком Сергею, — унеси котелок, да приходи за ворота. Посидим малость.

День за днем голодней становились обеды. Вот уже стали на обед давать жидкое вобляное варево, кашу перенесли на ужин, и с каждым вечером таяла эта желанная порция.

Тихо стало на курсах. В часы отдыха не слышно больше на дворе веселого грохота рюх, не видно борьбы и возни. Кто послабже — тот забвенно спит, кто поупрямей — тот остервенело занимается, а большинство ведет шопотные разговоры, да маленькая кучка певунов заунывно тянет старорусские печальные песни.

Лобичев тоже сдал. Зострился подбородок, обтянуло скулы, и под глазами легли тонкие, точно иглой проведенные морщинки. Туже стал он затягивать кушак. Всего без остатка брали курсы, с утра они начинали сматывать за ночь накопленную силу, и к вечеру оставалась только усталая сонливость.

Но жизнь порой казалась ему как суп без соли, и тогда тянуло за ворота высматривать женщин, чувствуя в теле теплую потяготу.

Так и сегодня. Лобичев, Коваль, Косихин, лениво перебрасываясь словами, сидели на лавочке за воротами. Из калитки вышел расфранченный Реховский. Лобичев его окликнул. Тот остановился, оглянулся, законфузился.

— Ишь ты, — с добродушной завистью сказал Лобичев, — к бабам пошел. Ну, иди, иди... да черненькой привет передай! — добавил он неожиданно, вспомнив черные, блестящие глаза и спелые губы приходившей на двор.

Реховский обрадованно уловил завистливые нотки.

— Идем, ребята, со мной, — сказал он. — С хорошенькими девчонками познакомлю, идем!

— Да ну тебя... иди уж.

— Нет, право, они рады будут. Идем, Лобичев, с черненькой познакомлю.

«А то, правда, пойти», — подумал Лобичев, ярко вспомнив, какая зовущая была ее усмешка.

Но тут же вспомнился гимназист, его картавый, чужой говор. Да и Реховский тоже какой-то чужой.

— Ты как, Сергей! — обратился Лобичев к Косихину с тайной надеждой, что тот пойдет, стало быть, ему не будет неловко пойти.

— Чего я там не видел? — сказал, морщась, Сергей. — Реховского? Так я его здесь каждый день вижу.

— Нет, сыпь, Реховский, один, — не без зависти сказал Лобичев. — Где уж нам уж...

— Клев на уду, — крикнул вдогонку уходящему Реховскому Коваль, — да смотри, чтобы гимназистки тебе чайник не подвесили...

Лобичев с грустью смотрел вдогонку Реховскому, и, если бы не последние грубо-насмешливые слова Ковалья, он, пожалуй, побежал бы за ним.

— Василек ты мой... как я по тебе скучала...

— А письма?

— Как же! Получу и весь день с собой ношу. Бывало, за уроком рассеешься, красноармеец говорит что, а я и не слушаю...

— Это уж, Люба, не годится, право.

— Да ладно...

Слова ее прерываются. Слышен поцелуй и долгий вздох.

— Гринюшка, милый мой! Когда же мы опять будем вместе?

«Да это ведь Васильев. К нему, верно, жена приехала. Ведь я с ним тезка».

Лобичев стал невольным слушателем разговора. Говорили по ту сторону забора, и струились горячим счастьем их голоса. И говорили-то, казалось, о печальном и плохом, о голоде, о пошатнувшемся здоровье Васильева, о настроении Захара Громова. А все же голоса были до краев налиты счастьем.

И ее ласковое — Гриня, Гришенька, Гринек — поминутно заставляло Лобичева смущенно и завистливо чертыхаться. Ведь это его имя. Тьфу! Он сердито и быстро побежал через темнеющий в сумерках двор в библиотеку готовиться к завтрашним занятиям. Завтра — первая лекция

по истории партии, нужно будет по-новому разрабатывать в группе предмет, а, стало быть, как-то по-новому ставить себя...

Но раздражено тело Лобичева тем, что не получает оно необходимого, и мстит мозгу печальным утомлением, и это утомление застилает, в другие моменты приковывающий сочувствие и внимание, сбивчивый шрифт Батуринской истории партии. И, как в другое время, не оживают и не начинают жить горячей сегодняшней жизнью, казалось бы, давно умершие споры между «Искрой»¹ и «Рабочим Делом».

Захлопнул Лобичев книгу и с необычайной для него вялостью пошел по темным коридорам на двор.

«Бабу надо», — с нарочито грубой насмешкой подумал он про себя, точно пытаюсь заглушить то нежное и властное, что из глубины его существа говорило:

«Друга надо! Такого друга, который мне будет, как жена Васильеву»...

«Ну, конечно, бабу. Зачем прикрываться идеалистическим покровом?» — насмешливо заставил он подумать себя.

«Но ведь сегодня не пошел с Реховским? И разве, если бы хотел, не добыл бы себе в два счета бабу — только бабу? Но надо больше — товарища, друга, подружку»...

«С Реховским не пошел, ну, хорошо. А вот ежели бы сейчас — вон там в темном углу двора ждала тебя баба, просто женское тело»...

Второй голос молчал. Сердце забилося, могуче гоня загоревшуюся кровь по телу. Лобичев невольно прянул в тот угол двора.

Но, остановившись, рукой провел по своему горячему лбу.

— Тьфу, чертовщина, — сказал он про себя. За эти несколько мгновений устал, казалось, больше, чем за целый день, и захотелось спать. Зевнул, закурил и лениво вы-

¹ «Искра» — социал-демократическая газета, основанная представителями петербургского союза борьбы за освобождение рабочего класса совместно с группой «Освобождение труда» с 1902 г. В редакцию входили: Ленин, Мартов, Потресов, Плеханов, Аксельрод, Засулич.

² «Рабочее Дело» — журнал, издававшийся с 1899 г. по 1902 г.; орган союза русских социал-демократов экономистов.

шел за ворота. Там на лавочке, с винтовкой в руках, дневал Шалавин.

Проницательно посмотрел он в лицо Лобичеву и сказал:

— Кобель... кобел... шатаешься все взад-вперед.

Поблескивают глаза Шалавина, поблескивает штык его винтовки.

Давно он сидит один, хочется поговорить словоохотливому человеку, и залучает он себе в компанию Лобичева.

— Иди сюда, посиди со стариком, расскажи, где был, кого видел, какую кралю целовал, а?

Лобичев сумрачно отмалчивается, но садится рядом. Шалавин пристально вглядывается в его лицо и говорит:

— Женлся бы ты, товарищ, вот! Это плохо, что ты бабы не имеешь. Она тебе развитие даст... да ты не качай головой. Ты думаешь — вот какой я есть политический гражданин Лобичев. Но я тебе скажу — ты мальчишка. Мальчишка — и все. Как ты с бабой не поживешь, ты еще сам себя не знаешь, что ты есть, и определить тебя нельзя.

Иногда бывает — мальчишкой был хороший, а сошелся с бабой — стал сволочь. Это ты понимай: не баба его сволочью сделала, а сам он сволочью был, но только через бабу определился. А другой был ни рыба ни мясо — столкнулся с бабой и образовался как твердый человек. Так-то!

— Откуда ты такой знаток по женскому вопросу? — рассмеялся Лобичев.

— Откуда? Скоро на шестой десяток пойдет — вот откуда. Я уже не помню, со сколькими жил. Официально четыре раза женат и сейчас, можно сказать, что молодожен... — он усмехнулся, видимо, забавляясь сам собой, — и скучаю по своей. Она молоденькая... чиновничья жена, а от мужа ушла ко мне — старику.

— Это отчего же? — с любопытством спросил Лобичев.

Шалавин развел руками.

— Любят меня бабы, а за что — не пойму... Наверно, оттого, что я с ними очень ласковый. А мужик с бабой обычно скверно обходится. Возьми даже наших коммунаров. В постели она ему вроде игрушки, а днем — так вспомнить срамно. И всегда ее понимают как отсталый элемент, а я скажу, что такое понимание от попов. Попы брехали —

что, мол, сосуд дьявола и что у ней души нет, вот и наши коммунары тоже заражены старым. Он ее себе равной не считает.

А надо к женщине быть как к дорогому товарищу, нежно и ласково. Тогда и она к тебе так же обернется. Вот я тебе расскажу, как со своей Анной Петровной сошелся. Когда заняли...скую губернию, штаб моей бригады стал в Костоломске. Уездный городишко, еле дышит, и вот поставили меня на квартиру к чиновнику одному из винного склада. Парень молодой и собой хорош, но, знаешь, очень гордый и хотя ко мне или к кому чужому обходительный, но к жене, прямо скажу, как тиран. За все ее: дура, бревно, на нее никогда даже и не смотрит. А она, видать, бабочка молодая, веселья хочется, три года как гимназию кончила, но он ее до этого застрашал, что она при нем ни встать ни сесть, и действительно дура-дурой. И так я с ней ласково обошелся, так она ко мне сразу всей душой, и через две недели мы сошлись, и она от своего тирана ушла.

Ну, и жили хорошо. Она от мужа ребенка имеет, и я его очень полюбил, как своего. Но однако опасуюсь... Вот как ты, Лобичев, думаешь? — с тревогой спросил он, — мальчишка-то чиновничьей крови. Чтобы он не получился такой же, как отец, истукан.

— Может, и получится... — со смешком ответил Лобичев.

— Я и то опасуюсь. За родного не боюсь, знаю — что будет большевичонок, а за этого опасуюсь. Однако, надеюсь его породу переломить.

— А родные-то дети есть?

— И-их дружок! Как не быть. И внуки есть. Об одних знаю, о других даже не знаю. От первой покойной жены все трое коммунисты, но жив только один. Сейчас работает на заводе Чартаныжском, слышал? Там и внуки. А двух сынов Колчак убил. От второй — сын да дочь. Живут они в Туркестане, и скажу тебе, что десять лет не знаю, как и что с ними, потому что с их матерью разошелся от ее плохого характера.

От третьей жены две дочери и сынишка. Одна дочь померла, а двое живут с теперешней. А сколько еще, может, детей есть!

Он задумался, точно вспоминая что-то.

— Да мне что, — сказал он, светло глядя на Лобичева. — Знаешь, бывает, под индюшку гуси яйца кладут, и выходят гусенята, и их индюшка водит и защищает, как и своих. Так и мы, коммунисты. Для меня каждый молодой коммунист — сын, пожилой — брат, и все мы — одна семья.

А когда и своя кровь бывает как чужая. Вот я тебе расскажу, как у казаков было. Двое братьев, стало быть. Один красный, у меня был адъютант, а другой — атамановец...

И в тихом свете звезд он повел рассказ о братьях, из которых один убил другого для революции, — рассказ, каких много сохранит народная память от наших времен.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

По широкой площади, где гнойной раной легла толкучка, кружатся пепельно-ржавые могучие вихри и сыплют мельчайшую пыль в недвижные лица тихой толпы, сбившейся вокруг неведомого старика. С высокой телеги, как и старик, видная каждому, склонилась крестьянка. Не по-здешнему высока телега. И не так, как в здешних местах, завязан платок на седеющей голове. Кроваво потрескались ее широкие и темные губы, лицо — как неплодная глинистая земля, в глубокие морщины у тусклых глаз осела пыль, та пыль, которая сжигает листву и последние посевы, и которую несет ветер из средне-азиатских жгучих пустынь.

Треплет ветер седые волосы старика, как живые трепещут его лохмотья, воспаленные глаза его смотрят чуть выше голов толпы, точно он видит там что-то страшное.

— Вот и добрались... А старуха померла, померла старая... — с какой-то выразительностью необычайной говорит он.

— А внучок... Внучок, внучок, — и он визжит это слово, точно оно мучительно режет его, и судорожно при-вскакивает, как будто хочет пуститься в пляс...

— Съели мы его, съели, православные христиане... — Его визг переходит в лай. Завывает ветер и мутит пылью грозную небесную глубину...

В толпе крестьян, вздыхают, но не отводят глаз от него, и только высокий красноармеец, тоже напряженно слу-

шавший его, вдруг поморщился, скрипнул зубами, застонал и пошел прочь от возов, судорожно тиская в больших, спорых к работе руках буханку хлеба.

Скрипит пыль на его зубах, мучит его жажда, серым стало лицо, и тоскливы, как дым, глаза.

Что делать, что делать? Сегодня получил письмо от сельского учителя, которому писал и спрашивал, почему от родных нет вестей. «Отец твой с детьми уехал неведомо куда, как только началась голодовка; сказал, что едет к тебе. Где он — не знаю». . . И ясно представил Клетов, как отец, а с ним рядом малые брат и сестра тянут руки за подавлянием где-то на такой же жестокой и шумной толкучке. . . «А может быть. . . — и он представил себе побелевшие глаза старика и быстро прибавил шагу.

За что он боролся эти три года? Опять пришла мысль, которую вначале он встречал с ужасом, и с которой теперь все больше и больше свыкался, мысль о том, что прав, пожалуй, Дегтярев. Разве партия не отшатывается от крестьян и не бросает их? Клетов почти бежал по улице, пыль слепила ему глаза и скрипела и скрипела на его зубах.

Васильев, истомленный жарой и занятиями, с посеревшим лицом, возбужденный, говорит кучке ребят, присевших на бревна почитать коричневые листы местной газеты:

— Это — есть результат блокады, интервенции. Это их рук дело. Ничего — придет наше время!

— Придет, — подтвердил Коваль. — Вишь ты, помогать собрались, сволочь.

Помолчали. Чего говорить? Ежели бы да можно было дать исход ненависти. Но это время еще не пришло. Надо ждать. И опять каждый подумал о родине. Пустой двор вокруг хаты и бездымная труба.

— Надо, ребята, еще четвертушку отчислить, — сказал Васильев. — Там люди от голоду мрут, а мы целый фунт в день едим.

Кто вздохнул, кто выругался, кто покачал головой, никто не возразил, но Коваль сказал:

— Вон товарищ Лобичев идет. Лобичев!

Лобичев подошел.

— Вот какое дело, хотим на помгол¹ еще четвертушку хлеба отчислить.

Лобичев нахмурился.

— Что ж, товарищи, будем тогда прямо говорить: прикрыть надо курсы и разъехаться. Потому что на трех четвертушках занятий у нас не будет.

У ребят посветлели лица, и Коваль с уважением посмотрел на Лобичева, не боявшегося прямо сказать такие шкурные слова.

— Как же так, — загорелся Васильев, — что же мы, крестьян предаем на голодную смерть? Да?

В его голосе слышались почти истерические ноты. Хотя не было у него родных в деревне, и с гордостью называл он себя чистым пролетарием, но, быть может, именно потому так бескорыстно болело его сердце о мужицком страдании.

А Лобичев был, как всегда, спокоен, смотрел на него с недоумением и думал о том, что Васильев, верно, болен, ему надо лечиться. Он пожал плечами.

— Все, что могли, то сделали. Жалованье отдали? Отдали. Полфунта отчислили? Отчислили. Сахар за месяц отдали? Тоже. Больше отчислить нельзя. Нужно вопрос тогда ставить ребром — стало быть, не под силу держать курсы, стало быть, всех отпустить на работу.

— Я с тобой согласен, товарищ Лобичев, — сказал Коваль.

Васильев презрительно отвернулся и замолчал. Лобичев направился через двор в канцелярию.



Чувствовал Кононов, что убывают его силы, и так уже подточенные фронтом. Слишком мало пищи получало на курсах его ослабевшее тело. Во время послеобеденного перерыва он не заснул — долго сидел на своей койке, думал, горько щурил глаза. Потом здоровой мыслью своей превозмог и непримиримое чувство неприязни ко всякой торговле, и боль самолюбия от того, что как бы идет на поклон к врагу. Ведь самое главное — учиться, а для этого надо поддержать свои силы. Из-под кровати выдвинул он зеле-

¹ Помгол — комиссия помощи голодающим.

ный сундучок, раскрыл его и оттуда сверху вынул блестящую кожаную куртку. Развернул ее, на правом рукаве выше локтя нашел прожженную дыру и тихонько поник головой. Недолго просидел — вспоминал — и воспоминанием этим гордился: ведь если б тогда не он, батальон побежал бы обратно. А теперь...

«Но раз надо». Полною грудью вздохнул, и когда вышел на двор, на лице его была обычная спокойная наблюдающая улыбка.

Во дворе увидел он Громова. Тот бесцельно сидел на бревне, полный каких-то своих мучительных мыслей. Давно уже мечталось Кононову поговорить с Громовым, нащупать его — отчего это такое всегда молчит и злобится человек. Но не приходилось, были в разных группах, жили в разных комнатах. А тут выдался удобный случай.

— Эй, кузнец, — окликнул Кононов, — чего пригорюнился?

— Откуда ты меня знаешь, что я кузнец? — мрачно спросил Громов, однако поднялся с бревна.

— Видна птица по полету... Идем на толчок!

— Чего я там не видал?

— Чего... купцов...

— Мать их...

— Погоди костить, еще они нам с тобой пригодятся, вот видишь барахло — хлеба наменяем.

— Так! Повоевали, стало быть, до победного конца, а теперь опять до купца?

— Ишь, у тебя как складно получается. Чего ж, барахло наживем, а без хлеба подохнем. Так идем, что ль, тебе пай тоже дам!

— Идем... Идем... Авось, спекулянтское сословие покажется на тебя, калеку.

Так, перебрасываясь жестокими шутками, шли они к толкучке. Грубо и горько — и точно над самим собой шутил Громов над тем, что Кононову, отдавшему руку за Революцию, приходится добывать себе хлеба на толчке. А Кононов все посмеивался и только порой вдруг, точно невзначай, отвечал острым уколom, от которого сжимались кулаки Громова, и разом выскакивало все то злое и больное, что он в себе носил. А Кононову это и нужно. Теперь

он знал, что за человек Громов и какая его линия.

И когда они вступали уже на шумный толчок, Кононов поколебался, но потом все-таки сказал:

— Погоди, кузнец, ты постановление X съезда знаешь?

— Это ты к чему? — спросил настороженно Громов. — Знаю. Ну?

— Там касается тебя есть, помнишь?

— Касается меня?

— Об анархо-синдикалистском¹ уклоне. Вспомнил?

— Нет... Да ты что привязался? — заворчал растревоженный Громов.

— Стоп. Не помнишь — спорить не будем. Придем домой, чайку попьем и разберемся.

— Да иди ты к шуту. Очень нужно, разбирались уже.

— Как хочешь, Захар... — Голос Кононова стал неожиданно звонок и значителен. — Как хочешь, но только ты отклоняешься в сторону, я хочу тебе помочь, как товарищу. Имей в виду: тебя от разговора со мной не убедит, но это плохо, что ты с закрытыми глазами идешь и дороги не видишь... А вот и хлебный магазин! — перебил он себя совсем другим, усмешливым голосом.

Оба жадно вдохнули теплый хлебный дух, которым веяло из маленького, свежесбитого ларька. Кругом пестро звенела, гудела толкучка: как кликуша, исходила она в жадном торговом выкрике.

— Торгуешь, тетка? — спросил Кононов, тронув левой рукой теплые, как живое тело, прикрытые полотенцем, хлеба.

— Чего же, голубчик, торгую — мое дело вдовье, напекла шанежек,² оладьев, калачиков, вынесла — ну, смотришь, и вы, по солдатскому делу, подойдете...

— Ишь как прочно обосновалась, — мрачно усмехнулся Громов. — А не боишься, что тебя того...

— Страшен сон, да милостив бог, голубчик, — сказала

¹ Анархо-синдикализм — учение, которое считает главным средством для совершения социальной революции всеобщую стачку, а не вооруженное восстание пролетариата и завоевание ими политической власти, — значения последней не понимает.

² Лепешка из ржаной или пшеничной муки с маслом и сметаной (Сибирь, Олонецкая и Архангельская губернии).

она, но без страха улыбнулась во все широкое дряблое лицо. — Проходил тут один важный товарищ со значком и толковал, что пойдет, стало быть, свобода торговать, коммуне отмена.

— Слыхал? — спросил Громов Кононова, повернув к нему рябос, как гранитный камень, темное лицо и мучительно щурясь, может, от горячей пыли. — Выходит, лучше нашего чуют...

— Опять двадцать пять, — насмешливо сказал Кононов и обратился к бабе, застывшей в выжидательной торгашеской улыбке. — Вот что, тетка, покупать мы не станем, купила нет... А вот кожанку ты нам на хлеб не поменяешь?

— Нет, голубчик, не меняю, — торопливо заговорила она и толстыми руками прикрыли свои хлеба.

— Почему же не меняешь? — спросил удивленно Громов. — Ведь на прошлой неделе меняла.

— А много уж очень я наменяла. Куда мне с ним? Вот ежели у вас николаевские...

— Ну, нет... — грубо прервал Громов, — за это знаешь куда...

— Да ты не грозись больно, — сказала баба, — ишь... А сами почему серебро чеканите?

— Что ты, дура, врешь... как чеканим?

— А так, чеканите; думаешь, не знаем?

Громов круто повернулся к Кононову.

— Слыхал? — спросил он и, не дожидаясь ответа, быстро пошел прочь.

Кононов хотел, ему что-то крикнуть, но видимо раздумал и, усмехнувшись, побежал догонять. Через несколько минут быстрого хода он крикнул впереди шагавшему Громову:

— Погоди, вон татары, продадим им, а на деньги хлеба купим.

Громов замедлил ход, оглянулся... Остановился. Подошел.

Кононов уже показывал товар...

— Ай яй, шибко дыра большой, — говорил круглолицый рыжий татарин в темной, от грязи и носки, потертой тюбетейке бордового бархата. — Пять тыщ? — сказал он и, точно объясняя цифру, указал на дыру в рукаве.

— Мало, знаком. . . Дай пятнадцать.

— Нельзя, товарищ, никак не можем.

— Ну, да ладно, чорт с тобой, бери, давай деньги.

Получив деньги, быстро пошли в сторону хлебных ларьков, и не знали они того, что издали наблюдает за ними черноусый человек в справной военной одежде, с лицом скупым и скрытым, как купецкий амбар. И только скрылись они с глаз, подошел этот человек к татарину и спросил, повертывая куртку:

— Почему продаешь?

— Пятьдесят тыщ, пожалста, господин комиссар. . .

— А у них, небось, тысяч за десять взял? А?

Татарин отрицательно закивал головой, но его хитрые улыбающиеся глазки, казалось, говорили свое.

«Дурачье», — подумал Дегтярев о Кононове и Громе, подумал с пренебрежительным презрением и злобой, точно они его обидели, и сказал татарину:

— А тебе, Малай, нельзя без обмана, такое твое дело купецкое. Ну, уступи половину, тогда возьму.

С аппетитом торговались, сошлись на тридцати пяти тысячах.

«Вот хорошо, последние советские». . . Дегтярев не подумал мысли, точно боялся, чтоб ее кто услышал.

— Да ты мне заверни, — сказал он, еще раз оглядывая куртку, и, наслюнявив палец, стал смывать еле заметное кровавое пятно на рукаве.

Только у самых ворот, запыхавшись от быстрого шага, Кононов сказал, протягивая буханку¹ Громову:

— Ну, ломай, Захар, на двое! — И, молча, поглядев, как мгновенно раскололась буханка в крепких руках кузнеца и показала черную мякоть, он добавил как бы без связи: — А торговка-то права, декрет о чеканке был. . .

— Был? — спросил Громов и неподвижно застыл, не доломив нижней корки хлеба.

Кононов усмехнулся: — она, выходит, лучше тебя знает, очень это плохо. Оттого, что ты, считая себя коммунистом, сам не знал, что такое коммунистическое учение, от этого у тебя вся путаница. Идем. . . — говорил он, и в голосе его

¹ Буханка — хлеб.

слышалась горячая, но сдержанная ласка. — Идем, разберемся во всем, и вся твоя злость минет, Захар!

Наклонив голову вперед, Захар точно прислушивался к далекому зову. Пойти разве? Он глядел на это болезненное лицо, на суровую, засеянную черными, точно мельчайшими крупинками металла, кожу, которая может, как сейчас вот, собираться в такие приятные добрые морщины. «Да, это свой! Свой, как и Васильев, который столько раз уговаривал. Уговаривал?»

Но разве у него нет своих глаз? Разве он не видит, что восстанавливается тот самый уклад тяжелой, голодной, униженной жизни, который в свое время точно надломил его, и трещину которого он чувствовал в самой глубине себя; он чувствовал, что не вынесет возвращения этого уклада. И ему казалось, что вместе с ним сломится партия, то дело, за которое он боролся. Так пусть лучше эта гибель будет сразу, и пусть в костре ее гибели он вспыхнет поленом, брошенным в домну.

— Никуда я не пойду, — сказал он Громову, — и разговаривать мне не об чем!

Нето губы, нето глаза, но что-то дернулось на лице у Кононова и точно оборвалось... Взяв из рук Громова свою половину буханки, пошел он к Лобичеву, Косихину и Миндлову. Они в короткой тени тополей ждут треска барабана, означающего конец томительно жаркого послеобеденного часа.

— На толчке был? — спрашивает лениво Косихин, поглядывая на хлеб в руках Кононова. Тот кивает головой и присаживается на траву.

— Ну, что там? Разговоры? — спрашивает Лобичев.

— Да вот говорят, что постановлена коммунизму отсрочка, что скоро серебро на рынок пойдет, — посмеиваясь, отвечает Кононов. — Вот какой разговор, товарищ Лобичев!

— А я считаю, что мы до выпуска золотой и серебряной монеты на внутренний рынок не дойдем. Как думаете, ребята? — Косихин приподымает голову с травы и сам же себе торопливо отвечает: — о, наша ставка будет на обесценение, вытеснение денег плановым обменом различных отраслей...

— Та, та, та! — поддразнил Лобичев. — А чеканка зачем?

— А для внешней торговли!

— Невязко... Невязко, на внешний — золото, а во внутренний — обесценение... А мелкое серебряное?

— Что ж, воспроизводство капитализма? — вскинулся задремавший было Миндлов. — Конец диктатуре? Ну? ..

И пошло.

Все чаще и чаще ребята спорили — о продналоге и местном товарообороте, о свободе торговли, аренде, концессиях¹. Спорили после каждого нового декрета и расходились в тоскливом недоумении.

Как же так? Боролись три года, — три года, как сорную траву из черных огородных гряд, безжалостно пололи капитализм и бились за свободные от помещиков крестьянские поля, — и вот к четвертому году оказалось, что за спиной победоносных фронтов, оттуда, из недр крестьянских полей, опять поднялись эти неисчислимые, неистребимые ростки.

И в этих спорах казалось Миндлову и Косихину, что Лобичев точно защищает эти ростки, а Лобичева злобило, что те не видят настоящей жизни.

Не красной строкой начиналась новая глава революции — незаметно вплетались в быстро-текущую ткань ее новые нити: новые декреты, новые статьи в газетах, новые доклады на собраниях и конференциях.

А курсы шли своим чередом: там золотушный тонконогий юноша, лектор губкома, читал социалистическое хозяйство восемнадцать часов, по программе, составленной как маршрут в будущее, маршрут, в котором путь революции намечен чуть-что не верстовыми столбами.

Правда, Миндлов вставил в программу последние декреты, но лектор решил их опустить, — нарушали они стройность его системы. Но зато много и со вкусом говорил лектор о коммунистическом обществе, и в его пересказе было оно приторно-сладеньким, как третье блюдо мещанского обеда.

¹ Договор между СССР и иностранным предпринимателем на право временной (аренда) эксплуатации какого-либо государственного предприятия, площади земли, горных угодий и т. д.

А вокруг стен курсов шла своя жизнь, совсем не похожая на ту, о которой читал золотушный юноша; получали слушатели курсов письма — из деревень, городов и городишек, — везде подымал голову, казалось бы, уже истребленный вконец враг. И все же неожиданна была для комиссаров новая глава революции: началась она знойным летним днем двадцать первого года, когда шли после общегородского партсобрания, и каждый держал в руках отпечатанную, по распоряжению губкома, брошюру о продналоге.

Только что на общегородском партсобрании приехавший с конференции член губкома и видный хозяйственник края сделал доклад о новой экономической политике.

Живой, подвижной, как ртуть, человек, он мало говорил о теоретическом значении самого поворота. Под его маленькими смуглыми руками лежал весь широкий край, и он говорил о том, как на нем отзовется этот новый поворот, говорил о мероприятиях по новым декретам, о роли кооперации, о возможных концессиях и о формах развития крестьянского хозяйства.

Его горячие слова были уже налиты совершенно новым содержанием. Они четко сказали ребятам, что, пока они спорили и слушали лекции о социалистическом строительстве, поворот уже совершился, и открылись какие-то новые, в грозových облаках, горизонты.

С доклада шли по бульвару. Уже наступил вечер. Город, как ребенок, не уgomинившийся за долгий летний день, тревожно веселился, и казалось, что веселье сейчас перейдет в плач.

Некоторые павильоны на бульваре еще стояли заколоченными, а в других торговали фруктами, конфетами и прохладительными напитками в заманчиво пестрых бутылках и сифонах. Светили красные буквы кафе.

— А живем мы, ребята, верно, как в монастыре!

— Залезли в политэкономию, а жизненной экономии не замечаем.

Так говорили между собой комиссары, и Шалавин сказал Миндлову:

— Надо бы нам доклад поставить на общее собрание

ячейки, а то ничего-то не понятно. Сделал бы ты, товарищ Миндлов!

И бюро постановило: сделать Миндлову доклад о продналоге и новой экономической политике.

Последние недели жил Миндлов в мире, наполовину заселенном причудливыми порождениями его больной головы. Какне-то бесшумные события, толпы призрачных людей неожиданно застилали живой мир; невероятные, странные лица зажигались и снова гасли среди настоящих людей. И все более бледнела подлинная жизнь.

Но, как потерявшая направление, с растерянной дрожью бегающая в соседстве с беспорядочно движущимися стружками железа, магнитная стрелка компаса вдруг выпрямляется, когда по соседству кладут могучую неподвижную глыбу магнита, так задача доклада выпрямила тело и волю Миндлова. И вот в четверг вечером к завтрашнему заседанию готов уже план и написаны тезисы. Вот они, — эти страницы бумаги. И листая их, Миндлов почувствовал, что сегодня он больше заниматься не может. Он глядел в синеву окна на звезды, светляками мерцающие в темной листве деревьев.

Сейчас он точно не знает, о чем будет говорить завтра. Но чувствует, что будет говорить хорошо, потому что готовый доклад лежит в его мозгу, как накрепко свернутая штука ситцевой материи, покрытая симметрично развивающимся гладким рисунком.

Рассеянный взгляд Миндлова пал на лиловую тоненькую брошюру о продналоге, и он еще раз стал перечитывать ее страницы, помеченные и отчеркнутые его быстрым карандашом. Эта простенькая книжечка с таким непритязательным названием была точно лекарством, которое врачи пускают в утомленные глаза, — лекарством, после которого все видится во много раз ярче, красочней и отчетливей. Да, во время гражданской войны создались фантастические сумерки. Точно во время сильной грозы, исчезли в этих сумерках цвета и оттенки классовой борьбы, и резко один против другого встали два лагеря.

И Миндлов усмехнулся, вспомнив, как совсем недавно — не более полгода назад — делал он доклад о едином хозяйственном плане и производственной пропаганде на съезде

политработников губернии. Как все это выглядело тогда стройно и красиво, а теперь под белым солнечным светом этой брошюры рассеялись грубо в две краски окрашенные миражи, и Миндлов опять видел многоцветную живую движущуюся картину классовой борьбы.

Как стекла микроскопа показывают движение незаметных, но смертоносных бактерий, так и Владимир Ильич через простые слова этой книжки показал Миндлову простым глазом еще незаметные движения мельчайших зародышей капитализма, показал нарастание этой силы и показал, как поставить паруса, чтобы взнуздать ее и заставить сделать работу для нас.

Спать — ведь завтра доклад — и он должен все эти мысли зажечь в других.

«Сумею ли? Ну да, сумею! Ведь в прошлом столько хороших докладов».

Но надо выспаться. Еще раз перечитав тезисы и этим как бы отдав их на последнюю отделку в мастерскую своего подсознания, Миндлов разделся и заснул.



Обычным порядком прошел сегодняшний день, ничем не отличавшийся от учебных будней. Утром была лекция; обед, как всегда, был скуден, и обычны были перед обедом оживленные шутки. Но часто переспрашивал товарищ товарища: будет ли сегодня собрание, и с ожиданием поглядывали комиссары на окно комнаты Миндлова.

Зарокотал барабан. И вместе с его рокотом вошел в белую аудиторию Розов и услышал в обычном перед собранием шуме, увидел в оживленных по-обычному лицах какие-то новые оттенки. Как никогда напряженно жило это собрание, и четки плакаты на стене, и безмолвны, точно прислушивающиеся, портреты вождей.

Не очень часто видят курсы маленькую фигуру Розова, не часто приходится слышать его четкую и легкую поступь. Ведь в большом военно-политическом хозяйстве Розова курсы — только одна часть. Правда, часть очень важная. И каждую неделю Розов вызывает к себе Арефьева и Миндлова для беседы, и каждый день звонит к ним по телефону.

Ни мрачный, как туча, Громов, ни Васильев, лихорадочный румянец которого багровеет с первой скамьи, ни Кононов, вошедший последним и ставший у стены, — никто из собравшихся не знает, что в высокой и квадратной голове Розова, видной всем за столом президиума, идет зоркая слежка за каждым из них.

Никто этого не знает, и не знает этого Кононов, но сам он тоже напрягся до предельной границы, при которой все существо, как струна, отзывается на колебания настроения окружающих, а в мозгу точно садится телеграфист и мгновенно расшифровывает каждое слово, каждый жест.

Впереди себя, среди многих голов и спин, видит Кононов черную голову, скрытную спину Дегтярева и отличает ее и задерживается на ней взглядом. Смутно ждет он чего-то враждебного от Дегтярева.

— Власов придет? — спросил Арефьев у Розова.

— Нет... На охоту поехал. — И Розов поморщился.

— Здравствуй, — сказал он Миндлову и пожал его руку.

С того разговора в политуправлении отрезало старую дружбу. Не сразу это произошло, и порою так хотелось Розову иногда бросить занятия, поехать на курсы, поговорить с Миндловым. Но он помнил это слово — официально.

«Официально. Ну, что ж, товарищ Миндлов... Пусть будет официально»... — неслышно бормотал он иногда про себя.

И во время деловых встреч, в присутствии Арефьева, был он сух и спокоен.

А Миндлов держался с какой-то затаенной усмешкой, точно он знал что-то, какую-то тайну. И он удивлялся и восхищался выдержкой и спокойствием Розова, и сейчас, как и всегда, увидав его, еще раз говорил себе: «Ну, что ж! Слово дано. Я его сдержу».

Перед самым докладом подошел к Миндлову Арефьев, и на его тихий оклик поднял Миндлов голову от конспекта.

В обычно холодной синеве глаз Арефьева мерцали огоньки возбуждения.

— Как чувствуешь себя? — спросил он. — Сегодня держись. С Лобичевым сговорился?

— Нет,

— Напрасно. Тебе одному всего не охватить... Ну, я выступаю.

Он остро глянул на лихорадочное лицо Миндлова.

И неожиданно для себя протянул Миндлову руку. Пожимая, как всегда, холодную руку его, почувствовал Миндлов жар своей руки.

Арефьев уже отошел. Потом вдруг повернулся к президиуму и сказал слегка укоризненно:

— Вы бы ему воды поставили.

Эта необычайная заботливость Арефьева и гул собрания взволновали Миндлова, и начал он тихим, чуть прерывистым голосом, и первые минуты думал с опаской Арефьев, что доклад выйдет бледен. Как водится, начал Миндлов с Октября —

«... который мы сделали вместе с крестьянством, потому что все революционное движение, товарищи, подводило нас к этому союзу...»

И тут-то загорелся Миндлов: этот пункт делал для него прекрасно закономерной и гражданскую войну, и то надвигающееся новое. И вот он страстно говорит о том, что в восемнадцатом году наступающий сейчас период предвидел уже Ленин.

Тихо слушает зал, и каждый — один ярче, другой бледнее — видит: там, где казалось гладкое место, бездонная пропасть; но вот уже легкие головокружительные мосты перекидывают через эти пропасти слова Миндлова, и тоннелями пронизывают они горы препятствий, и вдруг неожиданный крутой извив, и вот — точно назад — но нет — в обход вероломных болот идет наш путь. И Миндлов в будущем обещает те вершины социализма, с которых великой и гордой радостью оглянемся мы на наш пройденный путь.

И опять он говорит о тех ядовитых ущельях, над которыми кладем мы шаткие мостки; об испарениях, которые будут кружить нам головы; о той силе, которая требуется коммунисту в наступающий этот период, и о том, что будут непременно оставшие и оробевшие.

Слушали его и не слышали слов: каждый мерил своим опытом даль открывшихся новых дорог. Слова о капитале и рынке будили привычные и прямые чувства ненависти, но

слова Миндлова собирают силы разума, и приказы его строят ненависть в боевые дисциплинированные когорты¹.

Слова перестают быть словами, они превращаются в события, в грозные столкновения, победы и поражения, которые приходят из будущего.

А когда слова делаются опять словами, это значит они стали непонятны, и каждый видит, как за маленьким столиком, покрытым красным сукном, судорожно жестикулирует Миндлов.

И ячейка молчит: внимание сомкнуло рты, заморозило движения, и не голос бы Миндлова — то слышен бы был токот сердец. Приподняв свое грузное тело, Шалавин лег широкой грудью на парту, положил голову в крепкие ладони, пальцы его оставляют багровый след на щеках, полузакрыты большие глаза, крепко стиснуты губы. Точно при землетрясении, крепко схватился за скамейку Гладких; опустив взгляд на парту, Лобичев время от времени бесшумно опускает на парту в камень сжатый кулак; рядом — тяжело дышит Ковааль и вслед за Миндловым шевелит он губами слова доклада, которые бесконечной вереницей, как клубы дыма из трубы быстро бегущего паровоза — такие же разнообразны — летят одно за другим над собранием. Как дым эти слова скрывают и стены, и лица товарищей.

Победим или не победим? Кто кого?

Громов тоже слушал доклад Миндлова, и мрачная мучительная радость охватила его. Радость, что конец сомнениям, конец беспокойству, — измена, явная измена, — явно и твердо партия поворачивает к капитализму, и он крепко сжимал кулаки и готовил яркие налитые уверенностью слова. Как он уйдет сейчас от них — от этого стада лжецов и трусливых дураков!

Сидели рядом друг с другом разные люди, касались друг друга плечами, в черепе каждого прерывисто бьется и плещет одна и та же студенистая сила мозга, и классы, борющиеся в широкой стране, каждый мозг отражает по-своему, и в жарких глубинах его извилин так же идет грозная и прекрасная эта борьба.

¹ Когорта — десятая часть древне-римского легиона (500 солдат). В данном случае понимается как боевая дисциплинированная сила.

— Нужно смотреть прямо в будущее. Народится новая буржуазия, и, не давая ей политических прав, мы будем бороться на экономической почве. И вот, в результате подъема промышленности, у нас окрепнет пролетариат, то есть укрепится база диктатуры. Рынок даст крестьянам то, что не могли дать мы. Социализм будем строить как будто медленней, но наверняка — без вредных утопий...

«Но, чтобы проделать переход к этому новому периоду, надо вдвойне закалиться и налить себя крепостью и дисциплиной. И тогда мы победим!»

Кончил Миндлов. И когда сошел он с кафедры, то почувствовал вдруг, как отхлынула от мозга горячая кровь, стало там холодно, пусто и не было мыслей.

Содрогаясь от озноба, почти не видя лиц, он тихо стал продвигаться вдоль стен к дверям. Собрание уже зашевелилось, загудело, заскрипели парты...

И только Розов заметил, как Миндлов мимо всего этого почти ощупью уходил из зала.

И теплое, товарищеское чувство откуда-то из сердца поднялось к глазам.

Очевидно, Иосиф умрет, но не пойдет просить отпуска. Заместить его может теперь Лобичев...

— Мне слово! — вскочил и крикнул Громов, и этим гневным криком прервал он мысли Розова и удержал его от того, чтобы выйти вслед за Миндловым.

Громов вышел вперед; высоко было поднято его рябое лицо и глаза его вспыхивали, как огонь в горне, когда открыто поддувало.

Но слова ему не дали, и первый в порядке записи с передней скамьи встал Дегтярев. Спокоен был он, жестколиц, черноус... Благопристойный и истовый лицом, раньше чем начать говорить, обдернул он летнюю казенную гимнастерку, слежавшуюся жесткими складками.

— Товарищи, сам я — трудовой крестьянин, и вы меня знаете, как преданного сына революции. И вот я как понимаю новую эту политику своим мужицким простонародным умом. Есть эта политика в сторону капитала и от трудового народа.

Возьмем хотя деревню, товарищи. Что означает эта политика в деревне? Она означает смерть среднему трудовому

крестьянину. Поэтому я призываю всех трудовых крестьян заблаговременно выйти из этой партии. . . заблаговременно потому, что эта партия из коммунистической переходит в капиталистическую, и трудящемуся крестьянину в ней делать нечего.

«Как он спокойно все это говорит, — подумал Конов. — Вот стерва!» И он вдруг вспомнил, что в первую же встречу он в этих жестких линиях рта, в этих скрытых глазах ловил сходство с допрашивавшим его исправником.

И верно, без тяжести, без горечи говорил Дегтярев. Свободно и легко текла его речь, и колеблющихся эта свобода и легкость, с которой говорилось о такой большой и страшной вещи, как выход из партии, заставляла еще больше колебаться. Но других это бесило, — сжимались кулаки, кипели ругательства: неожиданно в этом черноусом почуяли чужака, так опасно долго прожившего под кровом родной партии.

Дегтярев еще не кончил, а сзади его стоял уже Злыднев. Его по-старчески румяное лицо содрогалось от волнения, и когда он заговорил, то голос его не дребезжал, как обыкновенно, а звучал, как у молодого:

— Ребятишек у нас нет. И кому как поступать, скажет ему ум и совесть. И товарищ Миндлов сказал нам, как мы пойдем и как придем к цели.

«Я вам скажу, как в восьмом — али в девятом годе — сейчас и не помню, — такое было в Питере сомнение по вопросу бойкота Третьей думы. И тогда Владимир Ильич своим острым, наперед думающим умом увидел и указал нам, что Первую и Вторую мы бойкотировали потому, что революция шла на подъем, а сейчас она идет на упадок, и надо использовать то, что можем. И так же тогда говорили многие товарищи, что это измена, но это не измена была, а жестокая нужда нас заставила, и наши товарищи пошли в Думу, и там один на один боролись со всей буржуазией.

«Так же и теперь, товарищи! Товарищ Ленин — он впереди указывает один-единственный путь, и другого нет. Но такие, как Дегтярев, они не хотят идти никуда. Они дезертиры — такие, как Дегтярев! — крикнул он.

«Власть — у нас в руках, сила у нас. И если меньше у нас будет подлых дезертиров, то мы выдержим.»

Он сошел с кафедры, — трепещущий, возбужденный, сел на свое место и попрежнему страстно смотрел на трибуну, как бы готовый еще и еще раз встать за партию.

А с кафедры уже текли мягкие и липкие слова комиссара опродкомдива Помадочкина.

— Надо, товарищи, рассуждать сознательно; гражданская война кончилась, и надо нам возвратиться к нормальности. Надо дать передышку народу, и опять же насчет торговли — есть честный торговец, и есть спекулянт, прячущий товар; честного торговца мы уважаем, а спекулянта будем преследовать. Опять же насчет концессий...

И вот теперь-то выпрыгнул на кафедру Громов.

— Слыхали, товарищи? — спросил он. — Вот он, ваш примерный коммунист! Слыхал, товарищ Злыднев, того, кто вас, слепых, теперь будет вести?

«Нет, товарищи, конечно наше дело: капитал поднимает голову, и вместо того, чтобы истреблять его, вместо того, чтобы вести с ним последний и решительный бой, вы идете на соглашение. Конеч, товарищи, конец! И вот предыдущий оратор, он прямо и откровенно говорил. Он не обманывал и не путал, как то делал Злыднев. Два пути: либо до последнего борись с капиталом, либо заключать с ним союз. Так нас учил Ленин в семнадцатом году. А теперь что?»

Так нас учил Ленин в семнадцатом году. А теперь что?

Мало говорил Громов, но все, что копилось за эти месяцы молчания, все это разом вылил он на ребят, и когда кончил, сошел с кафедры и через волнующуюся залу тяжело протопал к двери и крепко хлопнул ею.

Не помня себя, выбежал он на двор. Свежий ветер обдул его лицо. Солнце уже село, и на воротах трепетал только что наклеенный плакат: «Помогайте голодающим!» Глаза, по привычке, жадно прильнули к красному плакату. Но вспомнил то, что только произошло, и повернулся спиной к молчаливому зову плаката.

Он уже ушел и сзади себя взорвал мосты. Все эти плакаты, лозунги, газеты — все это чудовищная ложь.

Без шапки, с мутными глазами, пошел он на улицу, и часовой, скучавший у калитки, посмотрев в его лицо, не просил у него пропуска.

Бесшумен шаг по пыльной дороге. Теплым хлебом не-

сет от мещанских домишек, и этот запах говорит о теплой и незрячей жизни.

А ведь надо жить. Как жить?

В армии остаться нельзя.

Путь один — в Москву, на завод. И почувствовал Громов злобу и одновременно облегчение. Злобу, что опять тот же комут, против которого боролся; облегчение от того, что комут этот привычный, и шея привычно намозолена им.

Там ребята такие же беспартийные, постоянно всеми обманываемые и тянущие поколение за поколением привычную лямку.

— Опять, Захарка, как бы ничего и не было... — прошептал он, и горькая полынь кипела в его гортани.



Только оттремели в зале грозные слова Громова, а уже Кононов отошел от стены, быстро пробирается вперед.

— Не твое сейчас слово, — говорит ему председатель.

— Мое, — слышишь, мое, — отвечает тихо Кононов. Повелителен его шопот, — пожимает плечами председатель, поворачивается к Смирнову, который сидит рядом, но одnorукий в черной рубашке уже встал на кафедру, каждый видит глубокие впадины его глаз, широкий изгиб его черных бровей и болезненно-смутное, усеянное темными точками, лицо.

— Кононов. — хрипло сказал Лобичев Косихину.

— Что-то он скажет, — ответил тот и жадно выдвинул вперед свою, рыже-медную в закатном свете, голову.

Кононов сначала словно прислушивался к тому, как загрохотала дверь под сильным броском Громова, и вдруг спокойно улыбнулся ему вдогонку, чуть раздвинул губы, чуть блеснул зубами... После раскаленных речей Злыднева и Громова сердца у всех бились учащенно, и лица горели. А эта спокойная и здоровая улыбка точно пролила над собранием освежающий дождь.

И вот уже струится его глухой, точно придушенный, голос:

— Раньше чем говорить, товарищи, по самому докладу товарища Миндлсера, скажу, что совсем ни к чему весь этот крик и стук, как от последнего оратора. Похоже, что вот

он — храбрый герой, больше всех кричит... А кричит от страха, оттого, что сдрейфил...

«Тут товарищ Злыднев правильно говорил, что власть в наших руках. Вот и давайте глядеть, как мы своей властью, — и Кононов вытянул вперед кулак левой руки, точно сжимал в ней что-то, — можем распорядиться.

«Буржуазию мы победили. Об этом у нас спору нет. Мы в гражданскую войну отбили ее натиск, и она теперь лежит у наших ног. А дальше, можем мы обойтись так, чтоб ее не было? Вот вопрос, о котором давайте говорить. Если можем — значит, прав Громов, если нет — то прав Ленин...»

На эту еле слышную, почти неуловимую, насмешку, собрание откликнулось несколькими улыбками. Но он был попрежнему серьезен... Тяжело вздохнул, точно взходил на высокую гору и взшел на предгорье, впереди видит путь восхождения и остановился передохнуть. Напряженно молчала ячейка; это молчание требовало от него слов, еще раз вздохнул он — и пошел дальше.

— Чтобы ответить на этот поставленный мной вопрос, далеко ходить не приходится. Каждый вспомни, могли мы удовлетворять потребности крестьянства через посредство государственного плана? Нет. Во-первых — продуктов мало у нас на казенных складах, во-вторых — не умели мы еще, чтоб на несколько десятков миллионов поставит распределительную машину. Оттого крестьянин чуждается в местном рынке. Но раз местные рынки мы создадим, то сразу же вырастет и рынок общегосударственный...

«Да... я сказал, что мы еще не умели... Почему? Да потому, что у пролетария России выучка от русского капитала политически хорошая, лучше — нигде в свете не было, потому что очень велик был гнет. А вот хозяйственно — плохая, хозяева мы еще — никуда, вполне не научились. Вот, товарищи, и придется нам доучиться да капиталу за урок заплатить. Ничего не сделаешь, заплатим.

«Все это, товарищи, — ленинский путь! — сказал он, и в глухом голосе его густо звенело торжество...

— Вот чему учит Ленин, вот какой он путь показывает.

«А громовский путь какой? Разберемся спокойно в его крике и увидим: этот путь на поклон капиталу. Извини.

мол, батюшка капитал, что тебя обидели в Октябре, вот тебе обратно власть, владей нами, дураками.

«Так сделать? — спросил он собрание. — Так сделать? Нет, товарищи, это легче всего — сдать власть, а вот удерживать власть при новых условиях — вот эта задача будет потруднее, но все наше дело не гиблое. Транспорт наш, крупная промышленность наша, и опять же внешняя торговля. Будем бить капитал его же оружием.

«Я немного затянул, но теперь уже буду кончать и хочу еще пару слов сказать для крестьян-коммунистов, которые слышали как бы воззвание выходить из партии. Но вот что: не слушайте вы таких заступников, как Дегтярев, и гоните их от себя. Крестьянское положение, верно, очень плохое, мужик до буржуя тянулся, но не дотянулся, а в пролетария еще не выродился; это положение промежуточное, тяжелое. И беднейшая часть крестьянства встала в наши ряды пролетарского авангарда.

И вот, конечно, если вы послушаете этого адвоката, который есть адвокат ложный, и уйдете от нас, то опять встанете в промежуток, партия наша ослабится, и это даже будет опасность. Но Дегтяреву это нужно потому, что он, именующий себя крестьянином, есть в действительности деревенский кровосос, кулак.

— Не смеешь так говорить, — крикнул Дегтярев, — председатель, останови его.

— Кровосос, кулак, — повторил Кононов. — Кулак, но в маске коммуниста, и это хорошо, что он от нас уходит.

Он остановился, перевел дыхание, неловко, левым рукавом утер пот со своего желтого, накатившегося вперед лба, и по вздоху его можно было узнать, что говорить он устал...

— Да. Ну и я кончаю. Много от нас уйдет — и пусть, потому что правильно сказал товарищ Миндлов: нам нужен крепкий гранит. Но есть как бы заступники новой политики, вот тут выступал один со сладким словом в защиту торговцев, и напрасно на него Громов ссылается, мы все видим, что выступал тут приказчик и холуй капитала. Таких коммунистов нам тоже не надо. Но пока они нам не страшны. И не страшны также крикуны вроде Захара Громова, но вот такие заступники крестьянства — вот это глав-

ный яд, и от кого надо сейчас очищаться, потому что он, вот кулак, тянет за собой середняка. Вот...

Однорукий секунду нерешительно постоял на кафедре, как бы перебирая, все ли сказал, потом сошел и сел на переднюю скамью рядом с насупившимся, тяжело дышавшим Дегтяревым и неподалеку от Лобичева.

Был Кононов спокоен, точно ничего не произошло, но, видимо, устал от долгой речи, померк от утомления черный блеск его взгляда, и поэтому казались впадины глаз еще глубже. Дегтярев еще несколько раз вздохнул, пошевелинулся, кашлянул. Кононов был спокоен. Дегтярев склонился к нему и зашептал:

— А вы бы полегче, товарищ, насчет меня, ведь есть в приказе по армии, награждение имею и был комиссаром полка. — Кононов слушал, склонив голову. — Откуда вы можете сказать, что я есть кулак? Это нахально так говорить.

Кононов резко прервал его:

— Знаю, от нас не уйдешь. Не уйдешь.

Две ненависти глянули из глаз в глаза. Враг узнал врага. Отодвинулись и перестали говорить.

Прослушав Кононова, Арефьев вышел из зала на площадку лестницы. И только здесь, в будничном спокойствии расписания, двух табуретов и белой лестницы, уходящей вниз, почувствовал он значительность того, что происходило в зале и что плескалось и грохотало в голосах людей.

В начале собрания он спокойно и привычно подавлял поднимающееся в нем возбуждение. Он по настроению комиссаров знал, что идет буря. Ее он воспринимал как опасность, грозящую его стройке, и собирал в себе силы для борьбы с этой опасностью. Но во время собрания вдруг почувствовал, что ожили в нем, казалось бы, давно погребенные мысли, вмешались в стройное прохождение живых и сбили их шаг.

«Учиться у капитала... — думал он и ломал спички о коробку, не замечая, что чиркает незажигающимися концами. — Мы еще не доучились. Значит — прав был меньшевизм?» Он своей холодной рукою пригладил волосы, как будто так же хотел успокоить мозг. Как меньшевизм? Он искал доводов против и находил их, но он не замечал,

что эти доводы даны ему Кононовым. Он строил эти доводы, он придавал им свою, не свойственную Кононову форму. Он готовился к речи.

И когда почувствовал он, что речь готова, то, бросив недокуренную папиросу — не как обычно — в урну, а на пол, он вернулся в зал.

Собрание шло дальше, но первые, которые говорили после Коконова, точно были сворочены могучей волей его слов, и те, кто пытались ему противоречить, были похожи на людей, что хотят идти против ветра — и топчутся на месте.

— Молодец Кононов, — шептал однорукому подсевший сзади Косихин. — Здорово ты!

— Хорошо, — сбоку подтвердил Лобичев. — Но о крестьянстве ты объяснил как-то неладно. О Кронштадте надо было тебе сказать. Ну, я дополню.

— Обо всем враз не скажешь, товарищ Лобичев.

— Почему ты так редко выступаешь?

— А я не люблю, — и, помолчав добавил: — Моя кланька такая: Немой. Я так в организации Выборгского района звался — Немой.

Смеркается. Незаметно тускнеют лица. Похоже, что за несколько лет люди говорят в первый раз обо всем, что передумано: о своих сбывшихся и несбывшихся надеждах, о старых и новых мыслях. Настали сумерки, и об этом сказал только электрический свет, мгновенно смывший их из комнаты и показавший всем табачный дымок над собранием и лица, на которых только скучные и тусклые отсветы того сложного и яркого, что громоздится одно на другое в мозгу. Одни говорили за поворот, другие против него, но мало в чем отличны были их слова. Вышел Арефьев, и хотя говорил он правильно, но не было обычной силы в его словах, и порою казалось, что спорит он не с противником, а с самим собою. И чувствовал Косихин, что понимание главного, о чем так ясно говорил Ленин, что это наступающее не есть мир с капиталом, а новая борьба с ним, что понимание этого главного, вдруг на секунду, как молния, прорезающая тьму, мелькало в речах то одного, то другого оратора, и потом опять кругом была тьма беспомощных слов.

А Лобичев, не слушая, искал глазами Миндлова, чтоб, перед тем как выступить, посоветоваться с ним, но в зале

Миндлова не было, а черед выступать уже пришел, и вот он уже выходит, и Гладких, увидав его приземистую фигуру, радостно приподнялся с парты. Гладких хотел все время выступить и сказать всем противникам нового поворота то, что казалось ему самым главным, — о крестьянстве. Но мыслям его не было еще ясных слов, и поэтому ждал он, что кто-нибудь другой скажет то, что он думает. Однако, никто не говорил этого так, как хотел услышать Гладких, и хотел он уже сам встать и попросить слово, но вдруг увидел Лобичева, и он заранее радовался, потому что знал из разговоров, что Лобичев скажет его мысль. И когда говорил Лобичев, то Гладких радовался каждой его удаче и огорчался каждым промахом его.

О деревне говорил Лобичев, о том, что она требует свободного рынка; еще говорил он о нашем разорении и о том, что наша пестрая промышленность сейчас не может удовлетворить крестьянина.

Слово за словом слал он в залу, а глаза его зорко всматривались: делали они свою работу — ловили на лицах слушающих отсветы мыслей, и мозг откликался на эти мысли все новыми и новыми словами. Но вот, в разгаре его речи, замигало электричество, точно черный коленкор несколько раз развернули перед его глазами, а потом потухло оно, и видел Лобичев только синие угольки окон. И он стал запинаться, трудно было говорить, не видя лиц, и он, закрыв глаза, представлял себе лица слушающих. Но продолжал говорить. Гул темного зала был точно рокот ночной реки, против течения которой приходилось идти по невидимому, темному дну. И он говорил со злостью:

— Нет хуже, когда себе выдумашь утопию. Это, товарищи, страшная гибель, и вот это была наша утопия, что, покончив войну, армию повернем на трудовой фронт, а потом, единым махом, раз — и построим социализм, в этом мы ошиблись, товарищи. Эту ошибку нашу указал нам Кронштадт. И если мы сейчас по-другому хозяйствовать не начнем, то будем иметь всероссийский Кронштадт. И сейчас не хныкать, не скулить надуть, а поправлять ошибки...

Лобичев, не окончив, ушел с кафедры. Недоволен был он, не сказал полностью насчет Кронштадта, но трудно было говорить в темноте. Председатель звонил, но с возбужден-

ным говором расходились уже комиссары, густо сбившись у двери.

И эта серая тьма, этот стадный гул и топот, которым кончалось собрание, наполнили сердце Злыднева острой болью и гневом, и он спросил громко:

— А «Интернационал»?

— «Интернационал» надо спеть! — почти одновременно раздался глухой голос Кононова.

Вставай, проклятьем заклейменный...

Лобичев узнал украинский говор Ковалю, вольные и чистые звуки его голоса и присоединил к нему свой, чуть хрипловатый, густой тон. Звонко подтянул Косихин, тяжело рывкнул Гладких. Шалавин влил широкие длительные ноты, и вот уже поет человек десять, и старческий голос Злыднева, и надтреснутый голос Васильева проглотил этот хор. Они сгрудились у кафедры; с товарищеской лаской, забыв о раздорах и спорах, разглядывали они друг друга в темноте.

И, услышав из темноты могучий гимн, сконфуженно возвращались к кафедре один за другим комиссары и присоединялись к пению.

Хор рос. И когда пели о том великом громе, который уже зарокотал в прекрасных черно-синих тучах революции и вот-вот грянет смертью над сворой псов и палачей, Громов, вернувшийся после печальных скитаний и вошедший во двор, вострепнулся, хотел было запеть тоже.

Но горько откашлялся. Слышал он, что поет вся ячейка, словно бы ничего не случилось, словно бы его тяжелые слова, наполненные гневом, никого не убили, ничего не задела. И с немой горечью в горле слушал он их пение.

Так дикий гусь с подбитым крылом, когда видит в прозрачном и холодном закате быстрый гон осенней перелетной стрелы, тщетно бьет воздух здоровым крылом — хочет лететь ей вдогонку и не может.



В эту ночь, казалось, никто не спал, растревоженным ульем гудели общежития: кто говорил страстно и гневно, кто надорванно и жалобно, и часто ночной шопот прерывался громким дневным восклицанием.

Идет Лобичев между кроватей, ищет он, где помещается Кононов: хочется с ним поговорить. И видит Лобичев, что никто не спит, с каждой кровати смотрит ему навстречу думающий блеск глаз; похоже, что, стиснув зубы и накрепко сжав кулаки, смотрят в то, что открылось сегодня, и видят, что воскресает, казалось, изрубленный враг, и по-новому надо вести с ним борьбу...

Лобичев склонился еще над одной кроватью, долго, изумленно прислушивался: «Да, — спокойное и ровное дыхание, легкий храп, и широко раскинулось тело. Спит, точно хорошо поработавший человек. Кто же это?» И вдруг с соседней койки его окликнул тихо украинский мягкий голос Ковалья:

— Лобичев, ходь сюды!

Лобичев подошел на огонек его папиросы.

— Спит? — полуутвердительно, полувопросительно сказал Коваль.

— Да, — ответил Лобичев, — кто это?

И после некоторого молчания Коваль сказал, раздавив ногой светляка папиросы.

— Дегтярев!

— А...

Помолчали, незачем было говорить. Оба испытывали одно и то же.

— Да... — сказал, наконец, Лобичев. — А ты Кононова не видел?

— Он на дворе, там еще трошка есть хлопцев. Сидилы, балакалы. Я ось тильки прийшов. Хочу спать, да разве уснешь. Эх...

На дворе, на бревнах, увидел Лобичев тихо беседующую кучку. Лобичев влился в нее. И по тихим голосам узнал Злыднева, Шалавина, Васильева, Гладких, Медового, Кошихина. Кононов говорил не больше других, но он точно давал тон спокойствия всему разговору, и когда кто из этого тона выскакивал, — сейчас же приглушенный голос Кононова возвращал его на спокойную, ровную дорогу, по которой он, казалось, вел остальных, и понял Лобичев, почему он искал Кононова, почему все здесь собравшиеся так же, как и он, потянулись к нему...

Разговор шел о прошлых годах революции, но не было

в этом разговоре обычного бахвальства подвигами; говорили о том, что уже прошло, и воспоминания об этих днях только подкрепляли для будущей борьбы. Вспоминали Злыднев, Васильев и Кононов о Ленине, при сдержанном молчании других; рассказывали они, как он то-то сделал и так-то сказал, и какое у него было лицо. Голоса звучали бережно и ласково, но каждым словом и каждым поступком Ленина они пытались осветить себе тот путь, который еле намечался. . .

Словно бы эта ячейка болела сейчас, бил ее жар, и смертоносные армии разложения разливались по ее гелу. Но отсюда, от неторопливого Лобичева, горячего Васильева, от седых голов Шалавина и Злыднева и, главное, от твердой воли и светлой головы Коконова — навстречу этим армиям шла армия белых кровавых шариков, армия оздоровления.

●

Розов мог бы объяснить понятно и подробно очень много из того, что неправильно говорилось на собрании. Но он хорошо оценивал свои силы, сдержал свой задор и не выступил. Не умел Розов спорить, не умел легко и быстро отвечать, так, чтобы всем было понятно. Но он мог быстро действовать. И еще быстрее он умел схватывать положение.

До синей зари просидел он у Арсфьева, который был обезкуражен плохим своим выступлением. Арсфьеву казалось, что курсы погибли. И Розов, пожимая плечами, говорил:

— Уверю тебя — причин для паники нету. Крепко свяжись с основным ядром курсов. . .

Арсфьев кивал головой. Он не знал, о каком ядре говорит Розов и думал, что он говорит об учебном составе курсов.

И Розов, попрощавшись с Арсфьевым, вдруг смутно почувствовал, что Арсфьев его понял не так, как надо.

На дворе было тихо, где-то лаяли собаки. Розов хотел уже уходить. Но вдруг ему показалось, что он услышал жалобный женский плач. Он прислушался. Откуда это? Вот опять и опять.

Он мимо окон дома, в котором жил штат курсов, прошел по направлению плача. И вдруг остановился. Плач шел из этого раскрытого окна. Он подошел к нему и прислу-

шался. И вдруг ему показалось, что он слышит голос Миндлова.

Розов долго прислушивался... В столах иногда прорывались нотки знакомого миндловского голоса. Иногда же этот голос становился похожим на стон измученного животного.

Неумело цепляясь за подоконник и загремев стулом, Розов влез в окно. В синем свете раннего утра увидел он кровать. Склонился над ней и испуганно отпрянул.

Ужасно было лицо Иосифа, истощенное и слабоумное, его слюнявые губы и потухшие глаза...

— Идут... Идут... Идут... — гнусаво, почти бабьим голосом, лепетал быстро Миндлов.

Подавив дрожь инстинктивного отвращения, Розов положил свои твердые пальцы на жидкие плечи Миндлова, как бы стремясь удержать его на постели.

— Что с тобой, Иосиф? Что ты?

Розов, не отрываясь, смотрел Миндлову в глаза. И взгляд Иосифа прояснился, точно из глаз Розова переливался в его глаза спокойный и холодный свет. Но тело Иосифа стала бить мелкая дрожь, и все оно покрылось холодной испариной. Он глубоко вздохнул, ляснув зубами, и перестал бормотать.

— Ефим... — сказал он слабым, но у же своим, разумным голосом. — Ефим... Я сдержу свое обещание. Ты видишь, Ефим...

— Иосиф. Ты от меня потребовал официального ответа. Но я всегда говорю оно и то же — и официально и неофициально. Я по-товарищески хотел тебе объяснить, что иного исхода нет... Теперь другое: Лобичев тебя заменит, ты можешь ехать в отпуск.

— Зачем в отпуск? — спросил Иосиф. — Ты что-то не так говоришь. Ведь ты с меня взял обещание — умереть на курсах.

— Как?

— Да. Помнишь — ночью?

— Я? Ночью? Чтобы ты умер?

— Хорошо, Ефим. Ты не хочешь, чтобы я при других показывал вид, что у нас есть уговор. Но когда мы наедине...

— Иосиф, ты... — он хотел сказать: «бредишь». Но остановился, потому что сам поразился, как это ему раньше не пришла в голову, что Иосиф бредит, что у него психоз.

Он уже ни о чем не спрашивал. Он снял шинель, сел в головых постели Иосифа, взял его голову в свои спокойные руки и просидел рядом с ним до утра.

Иосиф вначале не успокаивался. Он порывался говорить, он рассказывал о... городах, под стены которых закапывают людей, чтобы крепче стояли. Розов не отвечал ему, крепче накладывая на его лоб и затылок свои холодные пальцы.

Он все понял. Он жалел Иосифа и жалел себя за то, что ему пришлось явиться проявлением силы, надорвавшей Иосифа.

Но он знал, что иначе поступить нельзя было.

И когда наступило светлое утро, он, положив голову Иосифа на подушку, пошел в кабинет Арефьева.

Арефьев встал при его появлении, и в глазах его было удивление.

Оба они были бледны от бессонной ночи, но оба, как всегда, спокойны.

— Я эту ночь переночевал у товарища Миндлова. Он очень плох. Почему вы мне не доложили?

В глазах Арефьева прочел Розов удивление и осуждение.

— Товарищ Розов, если вы припоминаете, я вам в первый же день докладывал об этом, но я получил от вас приказ в это дело не вмешиваться. После этого Миндлов заявил, что он с вами договорился. Согласно вашего приказа и его просьбы...

И тут Арефьев увидел жест, которого он у Розова никогда не видел.

Розов недоуменно развел руками.

Но ничего не сказал. Пусть Арефьев считает его бездушной бюрократической машиной, но он не должен думать, что Розов оправдывается и кается.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

— Васильев, товарищ Васильев! Пойдем сюда, пообедай со мной, ведь ты не обедал.

— Да... опоздал я,

— Ну так подсаживайся. На двух хватит. Милости прошу! — и Гладких, широко улыбаясь, указывал на дымящийся котелок. — В столовую мы не пойдем, душно там. Хоть не по уставу, однако, авось, Арефьев не увидит.

Гладких поставил котелок на скамью, сорвал лопух и положил на него хлеб. Двор пустынен и тих, из открытых окон нижнего этажа, где столовая, доносится говор и звон посуды.

Васильев проглотил ложки четыре жидкого супа и задумался.

— Ешь, — сказал в перерыве между глотками Гладких. — Ешь, едрена кочка, что, дежуришь? — И он опять зачавкал.

— Жарко очень, — ответил Васильев. . . — Да, дела.

— А что?

— Сорокина знаешь?

— Это иваново-вознесенский?

— Он самый. . . Ведь заявление он все-таки подал. — что ты с ним станешь делать, и Гремин тоже. . . А вот Клетова, пожалуй, уговорю.

Гладких отложил ложку, с молчаливым недоумением смотрел на похудевшее лицо Васильева.

— Однако, что ты с ними нянчишься, ну? Чего ты им сопли утираешь? Какой же из него коммунист, если он в такое время сдает? Нет. Я смотрю — гнать их в шею надо от. . .

Васильев в ответ промолчал. Потом покачал головой, машинально зачерпнул ложкой супу и машинально выплеснул.

— Нет, товарищ Гладких, скажем, что ежели ты коммунист сильный, ты должен помочь слабым. Ты сейчас ему поможешь, а он через это потом окрепнет. Вот как надо делать, а не так, как ты делаешь.

Гладких неподвижно слушал и чуть щурил свои косоватые узкие глаза, упрямо покачивал головой и этим показывал свое несогласие.

А Васильев возбужденно рассказывал, кого и как он уговаривает, и в его рассказе словно была какая-то нежность к этим, которым он протягивал руку.

Из сотни коммунистов, собранных на курсах, не более

десяти — пятнадцати человек перебороли в себе неприязнь к тому вековому и ненавистному, от чего еще были старые раны и что именовалось звонкими словами — капитализм, рынок, буржуазия. Перебороли — не потому, что меньше других ненавидели это, а потому, что у них мозг был богаче, а воля — крепче, чем у других.

Как струю холодной воды из брандсбоя¹ в пылающий пожар, так они направили свою волю против стихии испуга, ненависти и боли, разрушавших партию. Каждый по-своему. — они боролись за нее, и в этой борьбе неожиданно выдвинулись некоторые товарищи, раньше находившиеся в тени. Молчаливый, скромный Кононов стал точно вождем ячейки, и хоть не был он членом бюро, но присутствовал на каждом его заседании.

И совсем померк Николай Иванович Смирнов. Он знал, что партия права, и хотя не понимал необходимости новой политики, все же дисциплинированно подчинялся приказу сверху. Но когда он пробовал высказываться, слова его точно получали свою жизнь и сами восставали против его мыслей.

Некоторые товарищи замолкали, замыкались в себя, сторонились ото всех и тихостью и понуростью своей напоминали заболевших животных: кто, точно переболев, уходил, опять оживал, начинал посещать лекции и групповые занятия, другие же подавали в бюро непонятно длинные и горькие заявления о выходе из партии.

И когда Васильев замечал, что кто-нибудь из ребят скучает, то становился с ним особенно ласков, подолгу разговаривал; точно врач, который осторожно нащупывает на теле сверху невидимый полom кости, так он нащупывает то, от чего мучатся товарищи. Проклятое и исковерканное детство, мука ли за товарищей, десятки лет страдавших на заводах, обида ли за тех погибших в первые годы революции. . . И за что?

И вот на чем-нибудь прорывало человека.

— Эх, друг Васильев! А теперь куда повернули? Под тое же ярмо?

И Васильев начинал растолковывать, осторожно касаясь

¹ Брандсбой — пожарная труба.

больного места, словно закрепляя в лубок поломанную кость.

Лобичев действовал иначе.

— Ты чего, заявление писать собрался? — насмешливо спрашивал он косоглазого Савку, проснувшись утром и заметив, что Савка что-то пишет. — Эх ты, коммунист до победного конца! Да ты что бумагу-то спрятал, — думаешь, отберу, что ли? Пиши, пиши!

Савка смущенно доставал бумагу из-за спины.

— Че жь, Гринь, я не согласен на возвращение капитала.

Лобичев засмеялся.

— Развел агитацию: возвращенье капитала. А я тебя, ей-ей, насквозь вижу. Капитал — это у тебя маскировка. А главное вот — намучился ты, мечтаешь приехать домой — в навоз. Ведь я вашего брата, приискового мужика, знаю. Копь стала — ну и будешь ты огород разводить. Верно? И крыть нечем. А ты себя подтяни в такую пору, вспомни, за что боролся, и подумай, что, выходя из партии, отказываешься от борьбы.

Остроглазый Лобичев жестоко и верно вскрыл то, что Савка стыдливо прятал в самый дальний угол своего мозга, — надежду вернуться в родную сосновую сторонку, где живы еще и тятка с маткой и где жизнь, верно тяжелая, но, главное, спокойная и неотвечественная.

И Савка задумчиво перечитывал слова о капитале и буржуазии; казались они теперь лживыми и пустыми. Он глубоко задумался, потом со вздохом оторвал от заявления чистую четвертушку бумаги и спрятал ее, а исписанную изорвал в клочки.

В комнате Миндлова светло от белых стен, светом этим подчеркивается и грязь постельного белья, и замусоренность пола.

Бледное, желтоватое лицо Миндлова с багрянцем на щеках поросло длинными и редкими волосами, на худой шее резко выдается вперед грязный кадык, губы синеваты, и блестящие глаза. Увидев Таню и Розова, Миндлов приподнялся на постели и, поддерживаясь обеими руками, сел. Голова его тряслась, и голос был писклив и однотонен.

— Ефим, ты видишь? Я сдержал свое слово, Ефим.

Розов молча скосил глаза на Таню, как бы говоря:

«Видишь, что я тебе говорил?».

— Иосиф, — сказала Таня, громко сморкаясь и утирая глаза. — Ах, Фима... Да уйдите вы все, — сказала она вдруг громко, точно нашла то, что надо было сделать. — Уезжай, Фима, я с ним останусь и успокою его, ну иди, иди...

Стараясь остановить громкие слезы, она, всхлипывая, выпроводила всех из комнаты.

Миндлов следил за ее движениями, быстро шептали что-то его губы...

— Иосиф, ты знаешь, кто я? Ты помнишь? Я — Таня. Помнишь, я вас в Харькове прятала, тебя и Ефима? Ты помнишь? Да ляг, милый, ляг, — она своими крепкими и ласковыми руками укладывала его. — Помнишь? — говорила она быстро, точно захлебываясь от жалости и любви к нему, и гладила его обеими руками по лицу, стремясь через широкие свои ладони влить ему свою силу. Глаза ее блестя, и слезы быстро сохли на горячих щеках. — Помнишь, Иосиф?

Иосиф молча закрыл глаза. Он ни о чем не думал, этот ласковый голос, эти теплые ладони — они были приятны, но он так ослаб от только что перенесенного напряжения, что не мог даже подыскать слов для тех картин, которые сейчас мимолетно пронеслись в его памяти. А ласковый голос кажет картину за картиной, и вот слово: «Лия!». Слово, которое гнал от себя Иосиф, слово, которое тянуло его к жизни и которое тянуло его с курсов. «Лия»... Но ведь он должен умереть на курсах.

— Иосиф, ты только вспомни ясно, ты только, милый, вспомни, как она тебя ласкала, да как целовала, как вы любили, вспомни, Иосиф, и гони мысли о смерти, ты будешь жить и увидишь Лию, и вам будет хорошо.

— Правда? — спросил Иосиф, открыв глаза. — Лия... Ведь она есть?

— Ну, конечно, есть, — говорила Таня, — и она такая красотка, у нее такие черные, мягкие волосы. — Лию она видела только на плохой фотографии и не знала цвета ее волос, но ей хотелось напомнить возможно живей Иосифу образ его жены.

— Нет, — медленно сказал Иосиф, — у нее волосы русые.

— Ну, да, конечно! Она беленькая и ласковая, как птичка, и вот скоро ты ее увидишь.

— Когда? А почему она не пишет?

— Она пишет, что скоро выздоровеет, а ты тоже увидишь ее, когда будешь здоров. Вот вылечишься, потом ее увидишь. Ну, ты погоди, я сейчас за термометром схожу да за метелкой. Потом окна надо завесить. И воды принести тебе умыться.

— Ты приходи, — тихо сказал Иосиф, блестящими глазами следя за ней.

И с этого дня Таня холодным компрессом появилась в бредовом мире Иосифа. И это было хорошо. Лампочка электрическая, безжалостно лившая свой яростно-белый свет, обернута тихой зеленой бумагой, и так же тих голос Тани, и кажется порой Иосифу, что это — мать, не та мать, с которой он порвал с начала революции, озлобленная против большевиков мещанка, а другая, тусклая и с усилием вспоминаемая, ласковая, молодая, отходившая его во время крупозного воспаления легких в далеком детстве.

В руках Лобичева телеграмма:

«Окровоенполиткурсы Миндлову. Лия Соркина умерла пятого седьмого восемь скоротечной. Заведующий санаторией».

«Что делать?».

А тут еще над столом пригнулся Коваль и таинственно шепчет Лобичеву:

— От ты, хлопчик мозговитый, раскинь... Ну и, значит, обыск, и в раз застукаем.

— Какой обыск? — изумленно спрашивает Лобичев, — у кого?

— Так ты не слухал... А я тебе, как дельному! Эх...

Коваль махнул рукой и как бы хочет уйти. Лобичев хватается его за рукав.

— Погоди... Погоди. Видишь, тут телеграмма эта с толку меня сбילה. Ну, расскажи еще раз.

Коваль обижен и несколько секунд молчит, потом сразу сгоняет обиду со своего круглоногого, ясноглазого лица и шопотком говорит:

— Як нас со Смирновым разлучили, то поместился я в одной палаты с Дегтяревым. Но сосед, надо сказать, никуда. По-товарищески не делится, все прячет, куркуль¹ — хворменный куркуль, скаредный, як жид. Да. И вот — сундучок у него маленький, от такой, кованный. Маленький, а двигать его тяжело: колы белье, так легче должен быть, а он как задвигае его под койку, так жилится дуже. И его бережет. Просыпається, и разом руку под кровать, не уташили ли. И спит, холера, чутко: ночью до ветру пойдешь, он уж за тобой бачит. И вот у меня догадка, — совсем пригнувшись к уху Лобичева, говорит Коваль, — а не золото ли у него, часом, в сундуке?

— Ну, что ты, Коваль! Он, конечно, показал себя, как враг, но... он враг идейный.

Коваль насмешливо сузил голубые хитрые зенки.

— Идейный? — переспросил он, — а я разве говорю, что он не идейный, он идейный, по идея для него одна, — своя шкура. Но идею эту он прямо сказать не может, вот он и плетет, что я, мол, народник и прочее, я эту породу кулацкую знаю. Идейный: а вот он курсовой хлеб продает и на базаре белый покупает. Хлеб, верно, поганный, особенно последние дни, с овсом да с соломкой, но у нашего брата пети-мети² нема, ну и жуем, што дают. А он курсовой хлеб копит, потом продает, добавляе свои деньги, покупает ситный! И вот у меня думка такая: якый коммунист буде продавать хлеб, когда рядом товарищи голодуют?

— Ну-у-у? — протянул еще неуверенный Лобичев.

— Головой биться об заклад пойду... — серьезно и страстно сказал Коваль. — Чую я своей чекистской ноздрей. Только прикажи обыск сделать.

— А если не найдем?

Оба помолчали. Понятно было, что коль обыск не удастся, еще больше демагогии будет разводить Дегтярев... Но почему-то Лобичев вспомнил ту бессонную ночь, когда оба они с Ковалем слушали спокойное дыхание Дегтярева.

И об этом же подумал Коваль и сказал шопотом:

— А помнишь тогда ночью, ну?

¹ Куркуль — кулак.

² Пети-мети — деньги.

С грохотом двинул Лобичев креслом и решительно пошел в кабинет Арефьева. Арефьев молча, как бы спокойно взвешивая каждое слово, выслушал короткое сообщение Лобичева.

— То, что Дегтярев жулик, — я не сомневаюсь. Но что он настолько неосторожен и держит золото в общежитии... Если Коваль уверен, то пусть он пишет рапорт, я сейчас же положу резолюцию и только тогда прикажу обыск произвести. Дело ответственное. Я должен иметь оправдательный документ.

Не сходя с места, быстро написал Коваль рапорт.

Арефьев вызвал в кабинет Гладких, который сегодня дежурил. Невозмутимо выслушал Гладких приказание Арефьева и, коротко сказав: «Слушаюсь!» — вышел из кабинета, держа в руках рапорт Коваля. Весело взволнованный Коваль пошел за ним.

В дверях столкнулись с Кононовым. И только, когда Коваль, ухватив Кононова за пустой рукав, повлек его за собой, быстро и несвязно рассказывая ему о своих подозрениях, Гладких круто повернулся к нему и сказал резко:

— Однако, ты, Коваль, раньше времени не тарахти. Я считаю, что каков ни есть Дегтярев, но не такой он человек, чтоб воровать.

Коваль глянул в суженные обидой глаза Гладких. Он почувствовал, что Гладких в этот момент сочувствует Дегтяреву, и знал почему, хотя не мог все это выразить словами.

А Гладких, обычно считавший себя выше Коваля, вдруг почувствовал, что Коваль превосходит его в самом главном, коммунистическом. И поэтому, хотя он и злобился на Коваля, но все же не выдержал его насмешливого взгляда и опустил глаза.

И Коваль сказал насмешливо:

— Иди... иди... получил приказ от начальства и не рассуждай. А кто прав — увидим...

Лобичев вернулся к себе в кабинет и удивленно, точно в первый раз, перечел телеграмму.

«Умерла жена Миндлова, как ему сказать?» — но Лобичев не мог заставить себя думать о телеграмме, мозг его упорно возвращался к тому, что сейчас происходит там, во второй по коридору комнате. И с бьющимся сердцем он на-

пряженно слушал, не нарушит ли какой звук равномерного и постоянного гула учебы.

Осторожным зверем, уходящим из опасного круга облавы, был в эти дни Дегтярев. Заявление в бюро подано. Через два дня на общем собрании обсудят, а потом неизбежное откомандирование с курсов и демобилизация, и опять Дегтярев окунется в вольную жизнь, и не будет над ним чужой воли, и не надо будет трепать язык о чужие и холодные слова — коммунизм, революция. Все возвращается к старому, это знает он твердо, и хищником, перед глазами которого новые места охоты, зорко глядит он вперед.

В зале — докучная лекция, ее уже можно не слушать. Сидит Дегтярев у себя на постели, в самодельной записной книжке своей считает какие-то цифры и почти не слышит того, что говорит ему Клетов. Через два часа после Дегтярева подал и Клетов свое заявление. Слов в заявлении немного, но как тяжело их было писать! Ведь ради революции упустил Клетов невесту, забросил хозяйство, голодал, холодал и лил свою густую кровь в голубые сибирские снега, все это за царство божие на земле, которое он за свои муки ждал для себя и для своих будущих детей и весть о котором он слышал и в непонятной марксистской статье, и в веселом стихе Демьяна Бедного. Но, выходит, его обманули. Царство божие на земле — такой же обман, как и царство божие на небе. Хозяйство его обнищало, отец неведомо где, а впереди — торговля, рынок, купец, кулак. . . Он знал, что значат эти слова: это значит, что опять будет кабала. И опять пятнадцатилетнего брата нельзя уже будет учить, как он об этом мечтал, а придется послать батраком.

Слова Дегтярева были для него горькой правдой. И тщетно Васильев уговаривал, охаживал, убеждал. . . Ничто не помогло. Заявление в бюро уже подано. Но болит сердце Клетова, и не совсем уверен он в правоте того, что он сделал и который раз пересказывает он Дегтяреву свои горячие мысли, — а Дегтярев вяло поддакивает, скупно уписывая в свою записную книжку колонку цифр. Холодно думает он о Клетове. Правда, это он уговорил его, как и многих дру

гих, выйти из партии, но не задумывался Дегтярев о их будущей судьбе и сам не понимал, для чего уговаривал. Уговаривал — точно выполнял кем-то данную задачу.

Неожиданно речь Клетова, которую слушал Дегтярев, не желая вникать в нее, прекратилась. . . Поднял Дегтярев голову и видит, в дверь вошел Коваль, сзади, с тесаком на поясе, невозмутимый Гладких. Но только увидав последним вошедшего в комнату Кононова с пустым рукавом, zapравленным за пояс, заглодел внутренне Дегтярев, но не изменилось его скрытное лицо, только медленно поднялся он с постели. И уже точно наперед знал, что скажет ему Коваль.

— Товарищ Дегтярев, по приказу начальника курсов, мне и товарищам поручается произвести у вас обыск.

Дегтярев, ничего не отвечая, теребит аккуратно подрубленный край гимнастерки. Надевает фуражку, садится и снимает ее. Как ржаной прошлогодний сухарь, неподвижно его лицо.

— По приказу начкурсов. . . — хрипло повторяет он.

«С поличным поймали». . . — думает с жестокой радостью Коваль, наблюдая смущенный облик Дегтярева и сверяя его слова с опытом чекистских операций. И веселит его жестокая радость.

— А ну, Гладких, выдвигай. . . Заперт? Одолжите-ка ключик, будьте ласковы, — обращается Коваль к Дегтяреву. Дегтярев поднимает взгляд и встречается с его беспощадными глазами. Они точно говорят: «Мы с тобой вежливы, но ты в наших руках».

«Дать ключ? Значит — конец? А не дать? Испортят сундук все равно». . . И Дегтярев вынимает руку из кармана, отдает уже несколько секунд зажатый в ладони, запотевший, теплый ключ.

— Тэк-с. . . А ну, товарищ Гладких, выложь кожанку. Теперь подыми белье осторожно, не мни, вот медведь, чалдон.

Поднял белье Гладких и сразу застыл с охапкой в руках. И, склонившись над сундуком, замолкает Коваль. Клетов, молча и как бы в оцепенении наблюдающий всю сцену, приподнялся и глянул через плечо Ковалья.

Его лицо буреет, он громко отплеивается и откидывается на кровать.

— Яки воны ясны, яки гарны, — мурлычет Коваль, черпая из сундука тяжелую, густо звенящую горсть золотых и серебряных монет. — Ба, да здесь и серьги, и колечки. . . На фронте нагребил? — как бы без злобы, почти утвердительно спрашивает Коваль Дегтярева.

Лицо Клетова все более наливается бурой кровью, и жарко дышать от крови, и все-таки ждет он, что, может, Дегтярев подымет глаза, но неподвижен Дегтярев.

— С... сволочь... — прижег он Дегтярева хриплым шопотом и, боясь не совладать с собой, быстро убежал из комнаты.

— Ну что ж, Кононов, будем протокол составлять? — обращается Коваль к Кононову, который с недоумением разглядывает кожаную куртку, бывшую в сундуке Дегтярева. «Ведь это ж — моя куртка, ведь не может же быть такого совпадения?» — и он рассматривает такой роковой для него прожог на правой руке повыше локтя. Она в сундуке Дегтярева!

— Кононов, давай акт составлять.

Гладких, откладывавший отдельно серебро, золото, николаевки, керенки, золотые, серебряные вещи, прервал звон и шелест восклицанием: — Однако здесь и колчаковские есть!

Звенят монеты. Молчит Дегтярев, как кирпич неподвижно его лицо, и только руки теребят край гимнастерки, в оцепенении он слушает жестокие прибаутки Ковалья, начавшего писать протокол.

— А совзнаки есть? — вдруг спрашивает Кононов, и в голосе его удивленная и яростная догадка.

— Совзнаки? — переспрашивает Гладких. — Однако совзнаков-то нету!

Помолчали, быстро переглянулись и враз поглядели на Дегтярева, все ниже клонящего неподвижное лицо. Кононов положил куртку на кровать и сказал Ковалью и Гладких:

— Это моя куртка. Я ее продал для хлеба, он ее купил у татар, понимаешь?

Помолчали.

— Однако выходит... он совзнаки спускал? — спросил медленно думающий Гладких.

— Понятно... — ответил ему Коваль, и вдруг с лица

его сбежала улыбка, оно грозно вспыхнуло, вдулась жила на лбу, и он выхватил из кармана браунинг. Дегтярев охнул и присел... Кононов своей единственной левой рукой перехватил его прицел.

— Оставь, — сказал он, — подожди, Афонь... — он, не отпуская, держал руку Ковалья. — Этот гад нам еще нужен.

Медленно гасло лицо Ковалья, и когда Кононов увидел, что опять улыбчивым украинским солнцем засияли его глаза, Кононов отпустил его руку.

— Это у меня бывает... Из себя могу выйти, — сказал Коваль, виновато пряча браунинг. И повернув к Дегтяреву свое осунувшееся от злобы лицо, он сказал ему:

— Иди вперед, стерва!

●

Стоит в бюро длинная скамья, да два стула да стол. На скамье сидит Дегтярев, за столом Лобичев дописывает следственное заключение. Рядом с Дегтяревым никто не садится. Члены бюро стоят и с жестокой радостью разглядывают Дегтярева.

— Я записал, что вы все это похитили, будучи председателем трофейной¹ комиссии. Верно? А теперь ответьте мне еще на один вопрос: по какой причине у вас оказались колчаковские деньги и керенки, но не оказалось совзнаков?

Молчит Дегтярев, Лобичев тоже молчит и молчанием требует ответа.

— Интересовался я... Вроде для коллекции.

Не выдержал — ворвался в допрос Коваль. — Врешь, шура, сволочь! Контрреволюцию ждал. Ведь знаем, что спускал совзнаки. Знаем!

— Тише, товарищ Коваль, не мешай вести допрос!

— Итак, я записываю ваши показания, — говорит Лобичев. — Для коллекции. Очень хорошо.

— А скажите, зачем награбленное вами держали на курсах? Ведь это... небезопасно, — с интересом спрашивает Лобичев. На эти нотки интереса, исподлобья поднимает

¹ Трофей — знак победы: отнятые у неприятеля знамена, оружие и пр.

взгляд Дегтярев и вдруг с открытостью, для него необычайной, говорит:

— Человек человеку волк. Куда же мне было спрятать? При себе-то все же надежнее. . .

— Нет, — вдруг громко говорит Кононов, молчаливо слушавший допрос. — Он — не активный контр. Афанасий, но только шкура. Ни в каком заговоре не состоит, а просто он уверен в нашей скорой гибели. Оттого и не расчет ему было держать совзнаки.

— И вот такая шкура, — говорит Васильев и весь горит гневом, от которого жарко лицу, — такая шкура нам ставит в вину переход к новой политике!

Кононов, не отвечая, оглянулся на пожелтевшее неподвижное лицо Дегтярева.

— Дело его — табак, — чуть даже сочувственно сказал он. — А то, что он волк в овечьей шкуре, — так это я с первого дня почуял. Конечно, данных не было, ну и молчал. . .

Жестоко говорили о нем при нем же, точно бестрепетно ходили подошвами по его живому лицу.

Пришел Арефьев и тут же сообщил по телефону командующему о происшедшем.

— Слово товарищу Лобичеву, — сказал Шалавин. — О следственном допросе.

Лобичев, не вставая, пожал плечами:

— Чего ж, товарищи! Гражданин Дегтярев сознался, что деньги и золотые вещи им присвоены во время обысков у буржуазии, но главным образом, как он был председатель трофейной комиссии. . . восемьсот рублей колчаковских граждан Дегтярев объясняет тем, что собирал коллекцию.

Среди общего молчания зло рассмеялся Васильев.

— Вы подтверждаете все это? — обратился Арефьев к Дегтяреву.

Дегтярев впервые поднял глаза и посмотрел на врагов. Да, враги. Он их понимал, как врагов, давно, но только сейчас почувствовал их вражду. Ненависть, презрение и радость в их глазах. И хоть негде сесть, но рядом с ним на длинную скамью никто не садится: один он, как затравленный волк.

— О чем говорить? — сказал он хрипло. — Ваша взяла. Арестовывайте, расстреливайте, только поскорей!

— Нет, дружок, — прошипел Васильев, — нет... Ты на эту неделю позадержишься. Позадержишься до партсобраний. Ты нам еще нужен.

— Нужен, — подтвердил Гладких.

— Пусть все видят и знают таких крикунов.

— Народников таких, — ввернул Коваль.

И пока Дегтярева не увели из комнаты, они с открытой жестокой радостью смотрели на его омертвевшее от страдания лицо.



Молчала комната бюро, и только извне был слышен непрерывавший гул учебы — мерный и упорный, как гудение завода.

И Злыднев говорил Громову, склонившему упрямую глыбу головы, и слова Злыднева, негромкие, были ласковы, почти нежны, и строги.

— Как же, товарищ Громов? Покидаешь партию? Партия переживает такое время тяжелое, и ты, настоящий твердый пролетариат, настолько нам нужный сейчас, — и ты уходишь?

Опять все молчали.

И поднял глаза Громов, и сказал он с отчаянным спокойствием:

— Ладно... Ты меня не агитируй. Сам агитировал, и каждый ваш фокус вижу вперед и наскрозь. Делаю так, потому что обдумал... Всей своей кровью, каждой жилкой. — Точно что-то душило его и мешало говорить, но он все-таки говорил, и гнев в его словах нарастал. — Теперь вы хуже соглашателей, хуже, чем Керенский и меньшевики. Капитализм ворочаете.

Сухим смольным валежником вспыхнул Васильев.

— Не мы ворочаем, а такие, как ты... Предатели! Да, такие, как ты, предаете все наше дело буржуазии!

Весь он был словно костер под ветром, и руки его судорожно двигались, как языки пламени, и похудевшее лицо его было как багряный дым. Громов поднял свои тяжкие глаза, встретил смелый и твердый, как синий камень, взгляд Васильева. Казалось, что вот-вот в памяти обоих встанут годы совместной жизни, работы, великие месяцы борьбы заодно...

Ведь несколько месяцев назад братьями-товарищами встретились!

Но нет: для каждого другой — приспешник буржуазии. Оба они ненавидят буржуазию, и сейчас эта ненависть направляется друг на друга. Опустил опять глаза Громов и сказал:

— Сорок бочек арестантов я тебе наговорить могу! Но не об чем все это будет. . .

Он засунул руку за пазуху, пошарил там и вынул красненький партийный билет. Секунду только задержала рука — и потом:

— Возьмите.

— С Дегтяревым вместе уходишь? — спросил опять Злыднев.

— Я уйду — в левую, а он — в правую, — твердо ответил Громов. Все уже было обдуманно.

— Умнее Ленина хочешь быть? — опять спросил Злыднев. — Ленин ведет партию много лет, а ты ему недоверяешь. . .

И казалось, что и на это можно было ответить, и это как будто тоже было обдуманно. Но имя Ленина вынул Злыднев откуда-то из самой своей глубины и поднял его как последний призыв к заблудившемуся. И Громов точно на секунду что-то понял, точно мелькнул перед ним этот свет, который он видел таким ярким в восемнадцатом году.

Но он катился вниз и с каждой минутой нагонял скорость. И еще раз почувствовав, что его сознание бессильно против той стихии усталости и ненависти, которая его катила куда-то вниз, прочь из партии, он ответил с неожиданной тяжелой тоской:

— Отпустите меня, товарищи!

— Наваяливаться не будем. . . — опять с горячей злобой прорвало Васильева.

— Хватит, — резко крикнул Коваль, — пусть идет!

— Пожалеешь, — тихо сказал Злыднев, — обратно проситься будешь. — И он принял из серой руки Громова партийный билет. . .

Сказать или не сказать?

Лобичев стоял на том, что надо сказать. Таня доказывала, что говорить не надо.

— Пойми, Лобичев, он только и живет надеждой, что увидается с ней. Это его убьет сразу.

У Тани горят щеки, блещут глаза, она быстрой рукой поправляет растрепавшиеся волосы. Два дня и две ночи провела она у постели Иосифа, в то время как Розов хлопотал ему отъезд.

— А потом что будет? Ведь рано или поздно он узнает? — спросил еще раз Лобичев. И хоть он еще спрашивал, но в самом тоне услышала она неуверенность и поняла свою победу.

— К тому времени он окрепнет.

Таня мягко, но настойчиво взяла из рук Лобичева телеграмму и изодрала ее.

— Вот, — сказала она, — и вышла из комнаты.



Знал Дегтярев, что командующий предал его суду Военно-революционного трибунала, знал он, что не видать ему этих денег, которые уже привык считать своими. . .

Таковы были условия борьбы, которую он повел против всего мира — за свое счастье. Он проиграл и расплачивается.

Но впереди была самая страшная расплата. Партсобрание, многоголосая непонятная и страшная машина в сотню человеческих волей, — она надвигалась все ближе и ближе, и чтобы избежать ее, он подавал рапорты Арефьеву, просил о переводе на гарнизонную гауптвахту, требовал свидания с командующим. Ничто не помогало. И вспоминая свое выступление на партсобрании, гордое заявление, поданное в ячейку, он глухо матерился в подушку.

День за днем, час за часом. . .

И вот пришли страшные минуты, и особенно было страшно оттого, что внешне все было очень просто, как всегда, как на всяком партсобрании — избирали председателя, секретаря. Но вот председатель огласил в повестке вопрос о выходах из партии, и уже зачитывается его первое заявление, гордо и гневно обвиняющее партию — в измене, в обмане.

И все с любопытством смотрят в его одинокую спину, ссутулившуюся на первой скамье. Ведь каждый что-то слышал об обыске, о золоте, но бюро берегло дегтяревщину — до партсобрания,

И когда зачитано было заявление, на кафедре показался спокойный, холодный Арёфьев:

— По данному заявлению гражданина Дегтярева, я, как начальник и комиссар курсов, могу дать официальную справку. Согласно рапорту товарища Ковалёва, у гражданина Дегтярева был произведен обыск, при обыске обнаружилось...

Арёфьев достает бумажку и читает одну за другой цифры золота, серебра, керенок...

И в оцепеневшей голове Дегтярева вдруг мелькает неожиданная мысль: «А подсчитали точно. Ничего не скрыли».

— Согласно моего рапорта о происшедшем, гражданин Дегтярев, как бывший комиссар полка, предан командующим суду Военно-революционного трибунала.

Арёфьев сходит с кафедры.

— Итак, мы заслушали заявление Дегтярева и устное заявление Арёфьева.

— Угодно кому-нибудь высказаться? — в тон холодной речи Арёфьева спрашивает председатель у зашумевшего, зарокотавшего собрания.

И вот на кафедре худощавый, чуть сутулый Васильев. С горячим, жестоким презрением кивает он в сторону Дегтярева и спрашивает собрание:

— Слыхали, товарищи?

Это тот самый заступник крестьянства, которого мы здесь слушали на прошлом собрании! Вот она, вся их правда против партии.

Зачем ему серебро и золото? А затем, что он паук. Награбил это где? На фронте, прикрываясь именем нашей партии, и ждал со скрытой хищностью того времени, которого сейчас дождался. И вот теперь — что станет он делать, выйдя из партии? Он хочет стать купчиком, иметь свою лавочку. На обыске у него совзнаков не нашли, но нашли колчаковские бумажки. Это доказывает, что он уже уверовал в наше крушение, в нашу гибель и уже готовился к ней.

И такие были между нас, и мы их не знали!

Но такие еще есть. Этого мы исключаем с позором как шкурный и хищный элемент, и публикуем этот случай в газете. Другие, его породы, еще остались в партии, но мы ожидаем чистку и надеемся всю такую сволочь выкинуть.

Если же они сами будут выходить, то нам они только облегчат задачу.

— А ну, кто следующий? — крикнул он, обводя своим синим взглядом ячейку, — выходи! — И он сошел с кафедры.

Собрание рокотало, как забушевавший в бурю лес:

— Гони его!

— К чорту, сволочь!

— Кума с возу — кобыле легче... — густо крикнул Гладких.

— Тише, товарищи, не надо горячиться, — сказал председатель, — я голосую.

Дружным гулом и шелестом, поднятием рук принято предложение бюро ячейки об исключении Дегтярева, как хищного и шкурного элемента, с опубликованием в печати.

— Клетова заявление... — сказал председатель.

— Слово мне! — И Клетов вышел вперед. Не стал он всходить на кафедру, остался внизу, и только лицо его видел каждый, посеревшее от горьких дум, лицо — с тоскливыми, как голубой дым, глазами.

— Я, товарищи, беру свое заявление назад. Но скажу прямо, — не понимаю, что дется. Все кругом идет. Но я с этими, — он указал пальцами на Дегтярева, — с этими — не пойду.

Сел Клетов и закрыл лицо руками. Отложил председатель заявление Клетова и спросил спокойно.

— Может, еще кто из товарищей тоже возьмет обратно заявление?

— Я...

— Я тоже...

— Мое тоже обратно. Погорячился, товарищи!

Они вставали и, не глядя в глаза собранию, лепетали неуверенные слова. И Гладких с сухой злостью думал, что лучше бы таких в партии не было, а Васильев был доволен, и кивками посветлевшего лица он точно помогал говорить.

— Здесь еще семь заявлений о выходе.

Молчание.

Председатель перебирает заявления и испытующе обводит глазами собрание.

— А бюро как? — спросил Лобичев с места.

— Бюро вообще не задерживает товарищей, — пояснил председатель.

На кафедру вышел ясноглазый Коваль.

— Товарищи, що мы будем размолвлятися. Ции люди — дегтяревского прихода, предлагаю всих одним гуртом, — он сделал красноречивый жест рукой и коленкой.

Собрание загрохотало с мест.

— Кума с возу — кобыле легче, — опять крикнул свое Гладких.

Взмет рук. В протоколе: «Считать выбывшими».

— Дальше товарищи, у меня вопрос о выборе нового бюро, — сказал председатель. — Как мы отчет старого бюро заслушали, а выборы отложили на прошлое собрание, — на прошлом собрании выборы не состоялись, то мы их произведем сейчас. У кого есть списки?

— У меня, — крикнул Косихин и вышел вперед. — Вот, товарищи, прошлое бюро состояло у нас из товарищей, заслуженных по военной линии, так как не знали мы друг друга, как партийцы. Теперь же я считаю — у нас все определилось. Вот мой список:

Злыднев, Кононов, Васильев, Лобичев, Гладких. Кандидаты: Шалавин, Коваль, Медовой.

— Есть еще списки? — спросил председатель.

— Голосуй! — крикнули с мест.

Ни одной руки не поднялось против списка. И когда председатель вторично спрашивал: — Кто против? — Лобичев глянул на Кононова.

Тот, как всегда, спокойно стоял у стены. Встретившись взглядом с Лобичевым, он ему улыбнулся и оба вспомнили первое партсобрание, когда Кононов предложил этот же список, и его провалили.

А партсобрание шло дальше бодро — точно веселый день после летней грозы, разрядившей громом и вихрем застоявшийся воздух.

И после «Интернационала» Шалавин сказал с хитрецей Лобичеву:

— А Дегтярев-то! Сделал он нам все-таки последнюю партийную услугу своей подлостью. Верно, а?

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Опять наступили спокойные дни, опять ровным током застучал мотор учебной работы. Только исчез Миндлов, уехал на курорт, место его занял Лобичев. Да еще сел секретарем ячейки однорукий Кононов, и все разом почувствовали, что точно раньше не было ячейки на курсах. Пошли теперь ребята по полкам и предприятиям делать доклады, и вместе с учебной частью самостоятельно начала ячейка организовывать клуб, чтобы было где играть в шахматы, в шашки, брэнчать на рояли, посидеть, посмеяться.

Лобичев, Косихин, Коваль возились в пустой еще комнате, навешивали плакаты, портреты вождей, устанавливали рояль, отысканный в дальнем закоулке музея наробраза, среди кучи запыленных атласов и окаменелых костей какого-то доисторического гиганта.

— Верно? — спрашивал Косихин сверху со стула, поставленного на стол, и, отстраняясь, показывал портрет Троцкого в золоченой раме.

— Косо. Налево чуть, — снизу отвечает Лобичев. — Да ниже, вот так!

Косихин грохочет молотком.

— Скажите, здесь Сергей Калинин работает?

Лобичев на этот мягкий голос быстро обернулся. Точно обещал что-то мягкий женский голос — и вот она, обещанная.

Цветы такие видел Лобичев в разгромленной барской оранжерее: они склонялись с тонких стебельков, и срывать их нельзя было — досадно осыпались они розово-белыми лепестками.

На такой цветок походило лицо стоявшей перед ним, и две исчерна-рыжих, коротких, кудрявых косы лежат на ее плечах, и черный, то ли заграничный, то ли столичный костюм подчеркивает ее и выделяет из людей здешнего места.

На несколько секунд словно связан был Лобичев ее искристым взглядом. Немолчно грохочет молот Косихина и сыплет сверху штукатурку. Но когда заметил Лобичев, что зарумянилась она от его пристального взгляда, отвел он глаза и ответил на ее вопрос;

— Калининский? Такого у нас нет.

— Странно, а мне сказали, что он работает на этих курсах.

Грохот молотка вдруг прекратился.

— Варя, ты? — сверху изумленно и радостно спросил Косихин, с грохотом прыгнул, и они, держась за руки, вышли из комнаты.

Лобичев подошел к окну. Ветер быстро и взволнованно нес облака, и красное знамя на башенной калитке курсов трепетало как неровно-бьющееся сердце.

Обычно прошел день, и только поздно вечером, оставшись вдвоем с Косихиным, спросил Лобичев:

— Сережка, у тебя разве двойная фамилия?

Сережка густо покраснел:

— Нет... то есть, да... Калининский — это мой отец.

— Это тот самый, у которого в «Правде» статьи?

— Ну, да. Только ты не говори... Я не люблю, чтобы это знали. Я под фамилией матери живу. А с Варей мы четыре года не виделись. Она не знала, что я под фамилией матери. Мы с ней так и растем: не видимся несколько лет, потом немного вместе.

«Сестра!»

— Она сестра твоя?

— Ну, конечно, сестра. Разве мы не похожи?

— Немного есть...

«Ну, конечно, похожи, как это я сразу не сообразил, и глаза одинакие, но у нее лицо чистое и много мельче».

Сердце Лобичева с могучей радостной силой гонит кровь по телу, и хочется двигаться, бегать, чтобы до изнеможения устало тело.

Солнце уходит за тяжелые, потерявшие цвет, крыши, за синие хвойные горки, и ровный закат, бездумный, как улыбка могучего, но слабого умом человека, сулит и на завтра такой же жестокий день.

Варя, Лобичев и Косихин стоят на пригорке. Сзади засыпающий город сонно грохочет мостовой, справа в небо тянутся бездымные и этим печальные трубы завода, где-то вблизи церковка трезвонит настойчиво и жалобно, точно тонкоголосый попрошайка.

— Ты надолго, Варя, получила отпуск? — спросил Сережа.

Варя вдруг багряно покраснела.

— Да... то есть, как — отпуск?

— Но ведь ты где-нибудь работаешь, ты ведь училась?

— Ну, да, я учусь во ВХУТЕМАСЕ.

— Это что такое? — спросил Лобичев.

— Это художественное училище, там обучают новому искусству, — быстро сказала она. — А отпуск я вообще, так...

Она опять покраснела. Этот вопрос вдруг всколыхнул в ней горести, порожденные ее бесплодной, сосредоточенной в самой себе жизнью. Она вспомнила о плохом отношении, которое проявлялось к ней в комсомоле, о том, что членский взнос у нее не заплачен за несколько месяцев, о том, что во время последней академической чистки ее не исключили только благодаря имени ее отца.

— Какой сегодня закат красивый! — сказал Сережа.

— Это к засушливому лету, — возразил Лобичев. И он заговорил о том, что всегда болело в крестьянской окраине его существа и что перед его сознанием ставит новую, грозную опасность.

— Засеяли одну шестую прошлогоднего ярового клна. .

При урожае — еле-еле самим себе на обсев и прокорм. А теперь все погорело! . .

Варя слушала его густой голос и думала только о том, что красивая сила есть в этом голосе, такая же сила, как и в выражении этого упрямого простого лица. И не слышала печали и заботы в его словах. Солнце, желтый расплавленный слиток, никло точно толчками, и Варя, глядя на край земли, вдруг точно почувствовала ее округлость, ее бешеный лёт в пространство, вокруг солнца. От этой мысли, навеянной чтением Фламариона, стало жутко и одиноко, точно закружилась голова. Она испуганно оглянулась. Спокойно и крепко стояли рядом коротконосый, сжавший губы Лобичев и чуть сутулившийся Сережа, волосы которого точно отражали закат золотыми своими красками. И она подумала, что они живут счастливо, совсем не так, как она.

Солнце скрылось: вспыхнувший было румянец стал скупой и торопливо гаснуть. Они повернули и быстро пошли назад

в город, на который навалилась зелено-синья муть востока, глубоко спящего в ожидании своей скорой зари.

Было воскресенье, бездельный долгий день. Версты четыре ушли они в хвойник, окружавший город, всласть говорили о политике. Спрашивал об отце Сережа, Варя рассказывала, и Лобичеву интересно было слушать о том, как живет этот человек, по книжкам и статьям которого он учился понимать жизнь и революцию. Но, кроме того, слушал он и ее голос, и похоже было, что этот голос, мягкий своими переливами, о чем-то другом, нежном и сильном, рассказывал Лобичеву. И, смотря на ее близкое и непонятное лицо, следил он за тем, как живут ее глаза, ее изменчивый рот, слегка точно скошенный в сторону.

Но теперь день прошел, и обоим — Лобичеву и Варе — кажется, что так давно было сегодняшнее утро, когда они встретились, еще незнакомые, чтобы, по замыслу Сергея, втроем пойти в лес. Ведь с первой встречи не виделись три дня... Но, как всегда бывает, когда встретишься с тем, о ком мечтал в моменты сладкой предшествующей сну дремы, так и сегодня, когда первым рукопожатием соединились они, показалось им, что за эти прошедшие три дня они много виделись и много говорили.

А день уже прошел. В руках у Вари — сосновые ветви и убогие цветы этого сухого лета. Стоят они перед калиткой курсов и надо расходиться.

— Мне подзаняться надо, Варя, — сказал Сережа, — а то бы я к тебе пошел.

— Вечер уже очень хорош, — с наивной и нескрываемой хитростью сказал Лобичев, — может, прогуляться малость?

— Хорошо, — ответила она.

— До свиданья, Сережа. Завтра приходи в шесть.

И вот, оставшись одни, почувствовали они, что между ними нет преград и ни к чему разговор. Все слова Варя казались нестерпимо фальшивыми, Лобичеву — ненужными.

Но это почти одно ощущение толкнуло их к разному. Лобичев молча взял ее под руку. Весело билось его сердце, когда он искоса поглядывал на ее молодую грудь. Не выбирая дороги, вел он ее в синеву пригородных переулков.

Он молчал, потому что слова не приходили ему на ум. Варя же заговорила, хотя чувствовала ненужность своих

слов. Она говорила, точно торопливо загораживаясь ветками и пыльными предметами от того сильного и теплого света, который Лобичев принимал с бессловесной радостью.

— Вот, товарищ Лобичев, ежели бы люди друг про друга говорили то, что они думают... Обидно было бы, верно? Потому что человек про человека думает всегда с обидной холодностью и только с целью его для себя как-нибудь употребить...

Лобичев не понимал да и не старался понимать эти ее слова. Горячая рука его обвила ее стан с ласковой и молчаливой правдивостью, перед которой до отвращения фальшивыми показались ей самой последние ее слова. И она потушила их, как тушат электричество, когда наступает утро.

Когда он целовал ее щеки, руки ее вздрагивали и роняли ветви и цветы. Бывало, что она позволяла ласкать себя. Но тогда было только возбуждение, от которого хотелось смеяться и плакать, и ни на секунду не переставала она холодно наблюдать и думать. А теперь была цельная радость, которой, казалось, так долго ждала. Она закрыла глаза, крепко стиснула руку, шла все тише и тише и под конец остановилась, и если бы Лобичев не поддерживал ее одной рукой, то она бы упала. А он поддерживал ее, сам этого не сознавая. Похоже — вся его жизнь ушла в движенья рук, одной он охватил ее в поясе, а другая робко и просительно поднималась по ее руке, все ближе и ближе к плечу. В эти мгновенья ему казалось, что она своей трепещущей горячей жизнью налила весь мир — и небо, и звезды, и черные крыши домов, и огоньки окон, и чьи-то далекие голоса. Он чувствовал так, точно, обнимая ее, он завладевает сейчас всем миром. И движенья его рук стали торопливо страстны и грубы, и горячие губы его поползли по ее щеке к губам. И только тогда какая-то внутренняя сила стала ее толкать к сопротивлению. Оно выразилось в том, что она осознала, что глаза ее закрыты, и она их открыла. Она почувствовала его руки на своем теле, как что-то от нее отдельное, хотя и приятное. Она увидела его блестящие глаза почти около своих глаз. Она отвернула голову, потому что губы его были почти у ее рта. Она увидела его запотевший, блестящий висок, приоткрытый сползшим набок шлемом. Чувствуя, что делает что-то нехорошее, она оттолкнула его.

И он сразу почувствовал смысл этого толчка и отпустил ее.

— Идемте домой, — сказала она вдруг прерывистым голосом.

Повернули. Шли обратно молча, ни о чем не говорили, только у калитки дома, где она остановилась, когда рука Лобичева отпустила ее тело, мозг начал мстить за небывалое поражение.

Задержав его руку, она говорила, и голос у нее был странный, точно им, как тонкой пленкой, она задерживала из глубины рвущийся нето плач, нето судорожный смех.

— Однако, Лобичев, по части обхаживания и улеживания вы мастер... Для начала — политический разговор, о неурожае прочувствованные слова и потом самое что ни на есть обыкновенное лапанье. Можно сказать, мастер!

С недоумением и неприязнью слушал Лобичев ее слова. Он не знал, как и что ей ответить, потому что, если ей неприятны были его ласки, она могла бы оттолкнуть его в первый момент. Если же она не оттолкнула, стало быть, ей было приятно и хорошо. Так всегда поступают девушки.

Тогда зачем же эти слова? И она, точно читая на его лице все эти простые мысли, отвечала ему на них:

— А вы, верно, думаете, облагодетельствовали девочку... Подумаешь, нашел невинность! Ошиблись. Уже...

Она внезапно замолчала, словно кто-то сильной рукой закрыл ее рот. Варе было нестерпимо плохо, и Лобичев видел, как глаза ее заблестели неожиданными слезами.

Лобичев смотрел на нее недоумевающе и неприязненно.

— Не пойму я, Варя, что с тобой? Что ты взвилась? Разве это грех, если я... Ну, не нравится — сказала бы. И зачем мне знать про то, что ты с кем-то уже... Да мне-то что?

Он махнул рукой и повернулся от нее. Сзади Варя нето громко всхлипнула, нето засмеялась.



Еще Миндлов писал в Политуправление, чтоб дали кого вместо Гришина, и вот, наконец, нового группрука прислали. Однажды утром в кабинет Лобичева вошла девушка в мужской косоворотке.

Была она очень беленькая; волосы, видно, были недавно

стрижены и забавным светло-золотистым мыском выбегали на лоб; голос у нее был звонкий, и говор местный. Вот и все, что заметил Лобичев, порасспросив ее и наложив резолюцию на ее препроводительную бумагу. Была голова Лобичева занята чем-то другим. Время от времени поглядывал он на часовую стрелку, ползущую к пяти. В пять он пойдет к Варе, потому что сегодня получил от нее записку, написанную причудливыми и неровными буквами:

«Дорогой Лобичев! Неделю назад разговор, который у нас произошел — плюньте вы на него. Я — очень глупая и нехорошая, и извращенная, вот и все. Но одно скажу откровенно, что мне хочется вас видеть! Простите меня за неприятность и приходите после обеда, часов в пять. С тов. приветом В а р в а р а К а л и н с к а я».

Ее непонятно-горькие слова он вспоминал редко. Но мягкая щекотка ее кожи все время сохранялась на концах его пальцев. Эти ощущения вызывали мечты и мысли, и на курсах он стал работать с меньшей охотой.

Потому-то, хотя он и чувствовал, что между ними случилось плохое, но он был уверен так же твердо, как в силе своих рук, что это плохое он уничтожит. И он пошел бы к ней без ее записки.

Встретила она его у калитки, жала его руку своими горячими пальцами, жадно смотрела ему в глаза. Жила она у члена губкома, товарища ее отца. И ее бездельная и беспорядочная жизнь заполнена была теперь непрерывными мечтами и болезненными думами о Лобичеве. Она еще и еще раз переживала все, что произошло между ними, и от жаркого стыда за себя она стонала и кусала себе пальцы.

«Да мне-то что». . . — по этой фразе казался он ей сильным, мудрым, простым и, главное, счастливым. Она уже раньше, сталкиваясь с коммунистами, поражалась тому, что эти люди, усталые, больные, не особо заботящиеся о том, чтобы свою личную жизнь наполнить наслаждениями, отличны от нее именно каким-то счастьем. И она считала, что это от революции, которая бурлила вокруг нее. Чтобы получить это счастье, она пыталась ввязываться в революцию, но у нее ничего не выходило. Революционное дело оказывалось узким и скучным. Начинали манить к себе, оставшиеся за кругом революции, радости жизни: полежать на диване

с книжкой, несколько часов провести в ненужном разговоре с подругой, помечтать о любви... С возрастом — мечты о любви особенно стали жгучими, и они особенно часто уходили от революции.

В Лобичеве она видела и счастье от любви, и счастье от революции.

Неужели он не придет? И ей хотелось его видеть, как человеку хочется пить.

Когда она увидела его, слезы брызнули из ее глаз, она их быстро утерла, но глаза были свежи и блестящи, как небо после дождя. Не выпуская его руки, она ввела его в свою комнату. Беспорядочно были в этой комнате раскиданы книги, платья, и ветер в окно раздувал пудру из незакрытой коробки.

Она посадила его на низенькую кушетку, села сама на кресло и все смотрела на него гоючо и нежно, так что его сердце сильно билось.

Но, помня то, что было тем вечером, он уже не шел ей навстречу так просто, как тогда. Ей приходилось спрашивать, и, постепенно оживляясь, он втянулся в разговор о курсовой работе. Она слушала его слова, и они казались ей убогими и ненужными. Таким казались ей и слова газетных статей. Созданный ею образ теперь тускнел, и ее влечение к нему спадало. Ведь он просто обыкновенный коммунист, политработник, каких много.

И уже было скучно, и опять мысли прыгали в голове, как злые обезьяны в тесной загаженной клетке. Точно раззадоривая их, она с притворным вниманием расспрашивала Лобичева о методе преподавания и сама высказывала свое знание марксизма, поила его чаем, а потом, уже в сумерки, когда села она рядом с ним, и он взял ее теплые руки, тогда опять перевела она разговор:

— Вам непривычно, верно, что я вам тогда сказала? Обычно женщины о себе мужчинам такое не говорят. Вопрос о честности — вы должны знать, что берете, — поэтому я вам и хотела сказать... Было трое, — покраснев, говорила она. — Первый был француз, пять лет назад, еще за границей. Девчонкой еще была. А второй был...

Рука Лобичева неподвижно лежала на ее руке.

— Я не понимаю, Варя, зачем тебе... вам надо мне это все рассказывать? Да мне безразлично. Ведь я же тебе не рассказываю... Хочешь — конечно, расскажу, но к чему?

— Ну, ладно, молчу, молчу.

Она замолчала, но руку свою он незаметно для себя с ее руки убрал. Она заметила это и с болью содрогнулась. Ну что ж, раз она не может так грубо и просто, как все... Ведь она — особенная. Это еще и отец говорил, и многие... А что Лобичев? Обыкновенный коммунист. Примитивный.

А сама она вся невольно тянулась под свет его умного лица, сейчас чутко настроженного к ней. Этот большой нависший лоб, этот крепкий зажим нижней губы, придерживающий смелую жадность верхней, эта зеленая доброта тенистых глаз. Точно раньше, когда-то давно, он смутно представлялся ей — и вот он живой...

Возбужденно смеясь, рассказывала она, инстинктивно выбирая то, что должно его заинтересовать: о съезде комсомола, на котором она присутствовала, о демонстрациях и парадах, о Троцком, который был ее любимым героем.



Раньше, до революции, Витьку Зеленова дни и ночи мучили голод, и, когда не было работы, приходилось воровать. А работа у Витьки одна — грузчиком на камских пристанях. Это летом. Ну, а зимой как?

И когда наступила революция, понял ее Виктор Зеленов, как конец голодовки. И в Красной армии был он доблестным бойцом и лихим комиссаром. Гражданская война впервые досыта накормила Витьку. Конная разведка всегда себя пропитает: молоко, яйца, жареные поросята — недаром «сметанниками» называла их голодная, затрепанная пехота.

Гладеньким приехал Зеленов на курсы. Лоснилась жирным блеском его широкая смуглая ряска, и даже чуб поблескивал жиром.

Но день за днем все туже и туже затягивал пояс Зеленов, и голод опять начал терзать его молодые, здоровые внутренности. Похудел Зеленов, заострились скулы, залупилось лицо, развился кудрявый чуб. Порой темнело в глазах, и от слабости он часами валялся на кровати, и ни к

чему ему была вся курсовая учеба, ничего он в ней не понимал.

Хотел откомандироваться, но Арефьев, в ответ на его корявый рапорт, молча показал параграф приказа, в котором обозначено было, что только по тяжелой болезни возможно откомандирование с курсов.

Эту неделю пришлось особенно худо. Были последние дни месяца, а у Зеленова до начала нового уже забран весь хлеб. Еще два-три дня — выдадут карточки на новый месяц. Но как прожить эти три дня?

Зеленов жил от обеда до ужина и от ужина до обеда. Но несытны ужин и обед без хлеба, и каждый раз после трапезы шел Зеленов на кухню, униженно просил поварих. Они допускали его к котлу, и он долго скоблил ложкой пригар каши на стенках котла, почти не жуя, глотал черную корку и жадно пил водянистые остатки супа.

Тяжелее всего с утра до обеда. Уже во сне видел Зеленов еду, котелки с кашей и горохом; проснувшись, мучительно ждал обеда. От голода ел он траву, и его рвало. Иногда кто из ребят помогал, но теперь, к концу месяца, всем приходилось туго, хотя никого так не корежило, как Зеленова.

В это злосчастное утро шел он по двору. Вдруг видит — белый листочек. . . Продкарточка, и в ней хлеб не взят за два дня.

«Хлеб, пахуче-кислый, черный хлеб!»

«Данилюк — какой Данилюк?» Лица не вызвала эта фамилия.

«Ладно, только два дня, поговорю с ним потом, поговорю. . . А сейчас в каптерку за хлебом». . .

Иногда Варя была простая, ласковая и умная, искрами своих глаз и высоким чистым лбом напоминала Лобичеву Сережу, — и тогда он просиживал с нею часы. А иногда вдруг раздражалась она грубыми и горькими словами, и все не мог понять Лобичев: в какие же моменты она настоящая?

Не было между ними любовных слов, она же их хотела. Любовь без них казалась ей простой и грубой, каким вкус

мяса без пряной приправы кажется ресторанному лакомке.

Но Лобичев был ей нужен так же, как и она ему, и порой, с радостью и нежностью увидев в дверях его твердое лицо и отросший непокорный ежик волос, она, наперекор себе, начинала его злить и удивлять неведомо откуда приходящими словами. И редкие встречи кончались без молчаливой размолвки.

Но сегодня особенно ласкова была она, и из-под ласки печаль показывала скорбное лицо.

— Гриня, — говорила она, — ты мне должен многое простить. . . Я выросла без матери, с отцом и все время за границей или же у дяди, папиного брата, юриста, или у второй жены отца. . . она артистка. . . Все время почти в буржуазном окружении. Меня в Москве один коммунист называл отравленной. Я, верно, отравленная отвратительными книгами, которые читала. . . Но я не такая, какой я себя показываю. Вот я тебе рассказывала, помнишь, в первый раз, когда мы встретились — так это все неправда. Гриня, наврала я на себя: ни с кем никогда я не жила. это все глупости. . .

Первый раз за всю свою жизнь она говорила так откровенно и горячо свои самые затаенные горькие мысли о себе. Говорила и следила за его лицом — и видела, как темнеет это любимое лицо, точно свет, ярко освещавший его изнутри, вынесли, и становилось лицо жестким, резче выступал твердый рот и строгая челюсть.

— К чему все это? — спросил он просто и сухо. — Ты сказал, что жила с кем-то, и упорно повторяла это, а мне было противно слушать это, — но я слушал, потому что делал уступку, что ты интеллигентка, и думал, что ты не можешь не говорить об этом, хотя я считал, что говорить не к чему. . . А это еще что за фокус? Выходит, что ты на себя соврала? Зачем? — спросил он с удивлением и сдерживаемым гневом.

— Ты думаешь, Гриня, я сейчас вру?

— Я не знаю, когда ты врешь, сейчас или тогда, только очень много этого врания. И кроме себя ты никого не обманешь.

— Подожди, Гриня, договорим!

— Отстань. . . Хватит.

На курсы не шел, а бежал, и было противно, точно попал в какую-то вязкую погань.

Вошел во двор. Был час перед ужином, по двору сновали с полотенцами ребята. Косихин крикнул ему из окна кабинета Арефьева:

— Лобичев, сюда!

Лобичев вошел. . . В кабинете сидело, кроме Арефьева и Косихина, еще и бюро ячейки в полном составе.

— Вот он, — сказал Арефьев.

Лобичев, чувствуя себя виноватым, не сел, а остался стоять.

— Ну, расскажи ему, товарищ Арефьев, — с тяжелым вздохом сказал Шалавин, — расскажи!

«Что такое, — подумал Лобичев, — в чем я виноват? Да ни в чем! С Варей? Но как можно меня винить? Конечно, можно, курсам стал меньше времени отдавать. А значит — можно винить. Ну, конечно, сам недавно выговаривал Ковалю за ночные опоздания».

«Да об чем это я? Ведь тут совсем другое и, конечно, не обо мне» . . .

— Тогда начхоз спрашивает его: а почему вы берете на хлебную карточку Данилюка? Зеленов покраснел, замаялся и сказал, что Данилюк ему поручил, а присутствовавший здесь дежурный Туринских, зная, что Данилюк и Зеленов находятся в разных комнатах, разных взводах и разных группах, заподозрил Зеленова и задержал его. Вызывали Данилюка, и по опросе оказалось, что Данилюк не поручал Зеленову взять хлеб, а карточка очутилась у Зеленова оттого, что Данилюк ее потерял.

Арефьев помолчал немного и сказал размеренно, точно голосом нажимая невидимую педаль:

— Несмотря на голодную. . . атмосферу курсов. . . должен сказать, что это. . . первый случай.

Все молчали. Лобичев тоже ощутил в себе то оскорбление курсам, которое нанес этот поступок и которое, очевидно, резко ощущалось всеми.

— Член партии? — спросил Лобичев.

— Да, — глухо и резко ответил Васильев.

— Он в группе Русина? — нарушил молчание Косихин.

— Да, — ответил Лобичев, — ты, Сережа, сходи за Русинным.

Косихин мелькнул рыжими волосами мимо окна и явился обратно с Русинным.

— Расскажи, какой это Зеленев?

— Витька? — переспросил Русин. — Такой есть... Военный комиссар конной разведки X полка. Боевой парень, но развития у него нет, он очень тупой. Учится — хуже некуда.

— Это большой такой? — спросил Шалавин. — Он в моем взводе. Он всегда на голод жалуется.

— Вот, вот, — продолжал Русин. — Очень ему голод трудно переносить.

— Что значит — трудно? — сухо сказал Васильев. — А мне легко? Всякому трудно. По мне выход один: исключить из партии и с курсов.

— Ишь ты... — забормотал Шалавин.

— Вы что сказать хотите, товарищ Шалавин? — спросил Кононов.

— Нет, нет... Я покамест послушаю.

Заговорил Косихин:

— Правильно сказал Васильев: все простить можно, но только не воровство.

— Нет! — Шалавин, не дав окончить, ворвался в речь Косихина. — Ты сухонький и маленький, и разве ты можешь понимать такого человека широкой кости, как Зеленев? Я считаю, выговор ему сделать, но оставить в наших рядах. Воровство это для нас не преступление, голодный — не вор.

Начался галдеж, и тогда заговорил Кононов. Говорил он громко, но медленно, словно бы думал вслух:

— Это верно... Голодный — не вор. Но опять, у кого украл? У буржуя — это не вор, но у своего товарища? Так что это не за воровство мы его судим, а за то, что он — товарищ плохой. И потом вы, товарищи, о докладе Миндлова не забывайте. В другое время мы бы простили, а сейчас, когда нам нужна партия крепче гранита, я — за «исключить».

И Виктора Зеленева исключили из партии.

На другой день нахмуренный Лобичев опять шел к Варе. Шел, преодолевая себя; так шар, с силой пущенный в цель, ударившись о препятствие и перескочив его, лениво, с ослабленной скоростью, но все же катится туда, куда он пущен.

Она, видно, не ждала его, но все-таки была у нее малая надежда на его приход. Увидела, протянула руку. Пылало ее лицо, искрились глаза, и за весь день первый раз дышала она полной грудью.

— Тебе книгу нашла... которую ты спрашивал... — говорила она, проводив его в свою беспорядочную комнату.

Как будто бы сухи были слова, но под ними у обоих глубоко-глубоко, как рокот внешней воды под снегом, было стремление их друг к другу.

И как это произошло, о чем тогда говорили? Подошел он к ней, сидящей в кресле, взял ее руку, склонился и поцеловал ее в губы. Со вздохом она ответила ему. Выпрямился он, держал ее лицо в своих руках — глядел на нее, — она с закрытыми глазами — ждала второго поцелуя.

И то ли потому, что сверху он видел ее лицо, то ли еще почему, но точно впервые он видел его: эти капризно надломленные брови, эта направо немного сведенная нижняя губа, этот тоненький нос и белорозовое лицо.

Вихрь мыслей — не знал раньше Лобичев, что можно думать так быстро — пролетел в его голове. Последним было воспоминание об исключении из партии Виктора Зеленова.

Отнял руки от ее лица Лобичев, отошел к окну.

Она открыла глаза, точно просыпаясь, осмотрелась вокруг.

— Ну... нашла книгу? — спросил он слегка хриплым голосом.

— На, — и она протянула книгу.

На секунду они посмотрели друг другу в глаза.

Точно из двух неведомых краев, по каким-то гигантским кривым приближались они один к другому, и вот соприкоснулись. Казалось, что дальше пойдут они одним путем, но нет, действие могучих, вне их находящихся сил — и вот разошлись они. И они смотрели друг на друга, и чувствовали оба, что с каждой секундой они все дальше и

дальше друг от друга. Все дальше и дальше, вот еще можно протянуть и пожать руку друга и сказать ему несколько слов, но через несколько секунд уже нельзя; через секунду можно крикнуть, и еще через секунду друг не услышит крика.

Не прощаясь, ушел Лобичев, и последнее, что он видел, — ее плечи и черную с позолотой голову, склонившуюся в ладони.

Идет Лобичев по пыльной дороге, идет на закат, сокрытый низкой черной тучей, и только над самой землей острые крыши чернеют на багряном пояске заката.

Лобичев — тяжкодум, действие его опережает мысль. Так и сейчас — только начинает он понимать то, что произошло. Да, осталась она одна, голова ее опущена, и склонились плечи... Жалко ее, как кошку, изуродованную колесом.

«Но ведь никак ей не поможешь! Чужое лицо ее с закрытыми глазами и чуть покривившимся ртом, и нет к этому лицу желания, а только чуждость»...

Да, она — чужая, это лицо ее — с закрытыми глазами — оно расхлодило его, точно это не лицо женщины. Ну, и все это от разговора... Да, Шалавин еще говорил весною о буржуйском разговоре. Так вот оно, что это значит... Вот о чем он толковал и потом еще о том, что мужчина узнается по бабе...

«Ах, если бы жена-товарищ, коммунистка! Но этого нет, а с Варей конеп. Жалко».

Вздрогнуло тело от последнего воспоминания, напряглись мускулы, незаметно прибавил шаг. «А жалко! Но умей побороть голод. Иначе — Виктор Зеленев».

Недаром ведь чувствовал себя виноватым вчера в кабинете Арефьева. Подтянуться надо!

Закат багряно-призывный, как голос фанфар.¹ Но он — только дальней полоской над крышей, а до него все небо скрыла сизая, грязная, как осенняя вязкая дорога, туча.

Это — та дорога, на которую мы вступили.

«А ну, подберись, подсчитайся»... И, в такт своим тя-

¹ Фанфара — короткая шумная пьеса, исполняемая на трубах и барабанах в знак торжества,

желым шагам, запел Лобичев с восемнадцатого не петую, полузабытую коммунистическую марсельезу.

●

Гришина Лобичев назначил библиотекарем, уволив холодного к работе беспартийного учителя, злого от большой семьи и на всю жизнь замерзшего флюса. И Гришин днюет в сумрачных закоулках библиотечных шкафов; покачивая головой, выбрасывает он с полок все анти-марксистское старье, расставляет по полкам пахнувшие свежей краской издания Госиздата. И вечерами приятно Гришину в тихом шелесте газетных листов и книжных страниц, в шопоте, скрипе карандашей, под белым, подчеркивающим тишину светом электричества, под которым он видит почти не движущиеся, крепко работающие головы, склонившиеся над столом.

Вот уже час, как Васильев занят своей ежевечерней работой: конспектирует он книгу Ильина¹ — «Развитие капитализма в России».

«Вот данные Г. Лобзина (1866 год) о крупнейших заведениях сел Павлова, Ворсмы и Вачи во всех отраслях производства этого района: у пятнадцати хозяев было 500 рабочих, 1134 рабочих на стороне».

Ворсма! Там родился он, там родился его отец. Там на одного из этих пятнадцати капиталистов в этот год работали его дед, его тогда еще молодой отец.

И Васильев глубоко задумался над тем, что эта сухая цифра извлечена товарищем Лениным из могилы статистических справочников, оживлена им и поставлена на пост классовой борьбы, и что в ней подсчитаны и жизнь его отца, и жизнь его деда.

«1134»... Вот в этой цифре единиц и жизнь его отца, и соседи, которых он смутно помнит. И Васильев подумал вдруг ярко о том, какая любовь к пролетариату, какое стремление к коммунизму видны в этом старательном, любовном разборе этих цифр, и какой жизнью, печальями, радостями и горестями налиты они для того, кто писал эту книжку. И подумал он еще, что в этой книге товарищ Ленин переметил своей мыслью всю трудящуюся Россию.

¹ Ильин — один из псевдонимов Ленина,

Читать уж становилось трудно, голова, видно, устала, и когда он увидел Лобичева, на цыпочках пробирающегося вдоль стульев к библиотечному прилавку, поднялся он, поздоровался с ним, и вместе прошли они в конец комнаты, где дверь в кладовую библиотечных сокровищ загораживал стол Гришина.

У Гришина вечной слезой поблескивали глаза, но лицо было радостное, и он сухонькой рукой своей жал руку Лобичева и показывал ему лист бумаги с нарисованными красивыми заголовками: «Что читать по политической экономии». Дальше следовали заголовки книг, тоже писанные от руки ровными красивыми буквами. Гришин шептал, поблескивая слезоточивыми глазами:

— Выражаю вам благодарность, товарищ Лобичев, за перемещение меня на новую должность. Книга — это для меня, примите во внимание, — все. Здесь я и сам учусь, и могу быть полезен другим своим советом, ибо... — он перешел на еще более тихий горделивый шопот. — вряд ли кто из педагогического состава курсов, примите во внимание, так начитан в марксизме и вообще в политических науках, как я. Библиотека наша велась халатно, и бывший до меня библиотекарь, примите во внимание, выдавал Герберта Спенсера и Кропоткина, а также меньшевистские брошюры, каких здесь было не мало, но, примите во внимание, отнюдь не по злостности, а по непониманию и невежеству. И эти произведения сеяли ереси в умах наших слушателей. И вот я, примите во внимание, прибег к рекомендательным спискам, кои мне разрисовывает с такой красотью Александра Петровна...

— Какая Александра Петровна?

— Меня замесившая в группе девица, Иванова, Александра Петровна. Вот они-с... — и Гришин указал на библиотечное хранилище, где между шкафов Лобичев увидел склонившуюся над столом голову цвета одуванчика, а рядом рыжие волосы Косихина.

Лобичев подошел туда, поздоровался с приятелем. Девушка подняла голову, быстро скользнула взглядом, пожала руку Лобичеву и, опять закусив губы крепкими белыми зубами, склонилась к наполовину уж разрисованному списку.

— Видишь, какая художница? — сказал Косихин. Гла-

за его блестели, и видно было, что он преисполнен конфузливой радости.

Не поднимая головы, девушка коротко засмеялась.

Лобичев, не отводя глаз, следил за ее крепкими пальцами, осторожно набирающими кистью краску с блюдечка, аккуратно кладущими мазок за мазком в намеченные карандашом контуры букв. Были эти руки очень нежны к работе, которую они делали, и такая ласковая забота чувствовалась в каждом их движении! И на Лобичева повеяло хорошим и родным, повеяло курсами, которые за эти смеленные Варей дни он точно позабыл.

И Лобичев точно после хмельной и скучной от горького пьянства масленицы и двухдневного опохмельного загула вернулся в цех и пустил в ход станок: стало привычно-буднично и хорошо. И он уже озабоченно думал о том, что завтра же надо сходить в губком, сговориться о лекциях по советскому строительству.

А сейчас надо ложиться спать.

Только он скинул сапоги, в комнату вошел Косихин.

— Ты что, Гриша, у Вари был? — спросил он.

И, глядя на его блестящие глаза, на его просто и радостно живущее лицо, Лобичев ответил вопросом:

— Скажи мне, Сережа, почему ты на нее так непохож? То есть, внешне похож, но по характеру и вообще. . .

Сережа перестал улыбаться, задумался, вздохнул.

— Долго рассказывать, — сказал он. — Ведь у нас отец с матерью разошлись; ну вот, меня взяла мать, ее — отец. Мать моя — низовая подпольщица, я с ней и в ссылку ездил, и вообще всю жизнь. Она ведь работница, и боевая, настоящая большевичка, и я уже с десяти лет стал ей помогать, — с еще детской гордостью сказал он. — Да.

— Ну, а отец — ведь он тоже большевик?

— Да. . . Как же, он и теоретик сильный, но он почему-то на Варю влияния не имел, занят он был, всегда в работе, ею не занимался. Училась она в иностранном пансионе. И у дяди годами жила. А дядя — деникинский кадет.

Сергей задумался. Лобичев внимательно ждал его слов.

— Да, кроме того, я тебе скажу, вот как я у отца бываю иногда, так вижу: барин он все-таки. И мать его так называет: барин.

— Как же это барин? Большевик ведь?

— А вот так: нутро-то у него, конечно, борца-революционера, но как он из помещичьей семьи, то по верху-то остался барин, по привычкам, обращению. Я с ним, как чужой: очень трудно его называть «отец». Право... А Варя с мамой — так они совсем чужие, никогда не скажешь, что мать и дочь, они, право, прямо друг друга не любят.

Сереза опять тяжело вздохнул; видно было, что много раз мучительно думал про все это, и теперь хоть горько было, но приятно высказать.

— Как же ты ее любишь, Варя?

— Так уж... Да и она меня тоже. Это у нас с детства так; меня иногда к отцу отправляли, если уж мамке очень туго приходилось. Варвара, она меня очень любит.

В комнату пришли ребята и стали раздеваться. Косихин поднялся.

— Ну, всего! — сказал он. На минуту задержался, и радость опять согнала облако с его лица.

— А тебе Иванова нравится? — спросил он.

— Я с ней еще не познакомился как следует. Да ничего, кажись.

— Она — очень хорошая. Я скажу: таких бы побольше! Верно. И она, знаешь, марксистски начитанная.

Косихину трудно было совладать с бесельем, которое багрянцем разливалось по его лицу.

Лобичев, улыбаясь, смотрел на него.

— Ну, спокойной ночи! — еще раз сказал Сергей и исчез.

Лобичев засыпал. Вари точно не было, так далеко разошлись их пути, и только хотелось спать, словно много поистратил сил, как на фронте, когда после недели сильных боев часть уводили в тыл на отдых.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Быстро состарилось лето, под жестоким солнцем рано заржавели листья и побурели травы. И август, пыльный и сухой, подходит к концу. Все длиннее ночи, позже и прохладней восходы.

— Дмитрий Лукич, демобилизоваться не будешь? —

спрашивает у Шалавина Злыднев. Сидят старики на скамеечке у калитки курсов, провожают закат.

Шалавин отрицательно покачал головой.

— Пока нет, Василий Егорович. Что же, сейчас моя бригада рубит дрова... Ну, к примеру, я демобилизуюсь — опять же пошлют по дровяной части, как я лесоруб.

— Ну, а я думаю иначе... Годы мои вышли давно, курсы кончу — и на завод.

— Работать? — спрашивает Шалавин, искоса поглядывая на иссохшее тело и сморщенное лицо Злыднева. — А думаешь, вынесешь?

— Я-то? — и Злыднев молодцевато подпирается. — Я-то? Да я другому молодому не удам. Хотя сейчас могу к станку. А то и мастером. Теперь нам в хозяйстве нужен квалифицированный пролетариат и коммунист, твердой, стойкой.

— Я тоже — скончаю курсы — и на фабрику, — сказал подошедший во время речи и учуявший, о чем разговор, Сорокин, парень рослый, чуть сутулый, держащий в больших руках книгу. — Надоела армейщина. У нас в Иванове опять, верно, фабрики заработают в полную нагрузку.

— Ну нет, дорогой!.. — сказал Шалавин, — тебя-то уж из армии не пустят. Ишь ты, кончил курсы — и на фабрику! А на курсы зачем ты пришел? Нет, опять в полк поедешь!

Вышедший на говор Васильев ничего ни сказал, он тоже про себя подумал, что в армию он не вернется. Но и к станку тоже не встанет. Разве в хозяйстве не нужны командиры?

В нем играл молодой задор, когда он думал о той работе, которая предстоит.

Теперь знания кой-какие есть, при их помощи он надеялся уже сделать многое. И только бы немного поднабраться здоровьем, избыть эту непрекращающуюся боль в спине и груди! Кашлянул Васильев и сел рядом со стариками на скамью.

Компания росла; когда подошел Лобичев, на скамье ему уже места не хватило, и он лег на траву. Гладких, крепкий как панок из игры в бабки, засунув руки в широкие шаро-

вары, стоял перед скамьей и морщил на заходящее солнце свою скуластую непреклонную ряшку.

— Вот, ребятки, на будущую пятницу соберут нас, грешных, на партсобрание и зачнут каждого пытаться, откуда и как вошел в коммунисты. Есть это всероссийская партийная чистка, товарищи. Почистимся, кого не надо — отбросим, и останется у нас партия — светлый бриллиант, — так кудряво и торжественно возгласил Николай Иванович Смирнов, упруго присевший на корточки перед скамьей, но под его развязной кудрявостью чувствовалась и тревога.

Разговор сразу перешел на чистку, и на вопросы товарищей сказал Смирнов:

— Да, ребятки, заявляю это официально: как я встретил главного чистильщика Лузина, он мне друг и сказал, что анкеты наши просмотрены. Вот товарищи Шалавин и Злыднев вам подтвердят, как члены бюро нынешнего.

— Так, так, — раздумчиво сказал Злыднев. — А выкидать у нас мало, ребятки, осталось: после доклада товарища Миндлова такая чистка прошла, лучше и не надо.

— Верно, — сказал Герасименкин мягкий голос.

— Верно? — переспросил Васильев. — А кто в заявлении писал, что я пойду моим путем, а партия своим? Эх, Митруня! — сказал он с насмешкой.

— Чего ж, я не чо ж... — смутился Герасименко.

— Ладно, ты до его не касайся, — вставил примирительно Коваль. — Шо було, то було. Верно, Митрусь?

— А вот я смотрю не так, Василий Егорович, — сказал своим грубым сибирским говором Гладких. — Вот вы говорите, что мало у нас исключают. Однако, я смотрю не так. Много ли у нас истых коммунистов? Не больше как двадцать человек. Уж ежели чистить, так чтоб вот эти двадцать оставить.

Говоря это, он косил на Ковалья, продолжая ту борьбу, которую они вели, начиная с обыска.

И как бы в ответ ему Коваль протяжно свистнул.

— Чистò, — сказал он свое любимое насмешливое слово. — Выходит, одних чалдонских кулаков оставить? Чистò!

Гладких сразу повернулся к нему:

— А ты бы, Афоня, помолчал! Забыл, слова шишка, как вместе со Смирновым да с Герасименкой... Коммуни-

сты, коммунисты! — сказал он. — Нет, уж раз ты взошел в партию, так держи себя вот! — Он крепко сжал кулак и стиснул зубы.

Злыднев, точно любуясь его твердым лицом, однако не соглашаясь, качал головой, но ничего не говорил.

Одобрительно хмыкнул Васильев.

— А чего ж? — говорил Коваль. — Я не отказуюсь, шо пил. Другой сидить, ничего не пьет, а цена ему — пятак. И ты — кулак, чалдонская твоя душа! Уж одна фамилия твоя: Гладких, — гладкий и есть, ровно кабан. Разве ты понимаешь, якая наша пролетарская судьбина? Испытал, как в шахте сырость до кости доходит? Ни! Оттого и пью я, всю эту сырость никак выгнать не могу.

— Да, верно, Гладких, — напал с другой стороны Лобичев. — С этим надо разбираться тонко.

— Значит, пей? — спрашивал громко Гладких. — Ну, ты скажи, товарищ Лобичев. Выходит, пей?

— Опять какой крик, — Шалавин покачал головой. — Ах-ах! Вот всегда, как сойдемся — сейчас, как собаки: гав, гав!

— Что ж, это хорошо, — сказал Злыднев, — стало быть, мысль ищет верного пути.

— Я не против, чтоб искать, но зачем же такой лай? А вот... Дочка, дочка! А ну-ка, сдвинься, ребята, дай ей место.

— А ну, седай с нами, ангелочек, — говорил он и, обняв за талию улыбающуюся, покрасневшую Шуру Иванову, он посадил ее между собой и Злыдневым. — Вот так, посиди со стариками. Оно спокойней будет, а с ними-то спокойно не посидишь... — и он лукаво мигнул ухмылявшимся ребятам. — Ты вот разреши наш спор. Видишь, вот этот товарищ, гражданин Гладких, Иван Карпович, он нападает на Афанасия Степановича Ковалья за пьянство, но на заступу ему пошел товарищ Лобичев.

— Ну, ты, отец, нескладно рассказываешь, — пробурчал Лобичев. — Вопрос стоит так: можем ли мы за пьянку вышибать из партии?

— Правильно, — сказал Коваль.

— Верно я формулировал? — обратился Лобичев к Гладких.

— Ну, ну, я погляжу...

— Ишь ты, — сказал Шалавин, покачивая головой.

— Ну, так вот, как: да или нет?

— Вот уж загадали! — Шура засмеялась под упорным вопросительным взглядом Лобичева. Похоже было, что он от нее ждет ответа еще на какой-то вопрос, так настойчивы стали его глаза. — Право, я и не знаю. Как правило — пьяниц надо вышибать, говорила она, а сама быстро вспомнила, как бывало прежде, почитай каждое воскресенье, сколько соток перетаскала отцу. А ведь считался большевик первой руки! Но иногда надо исключение сделать. Бывает так, не может отвыкнуть, а сам хороший коммунист и пролетарий. От него партия из-за этого не откажется.

— Вот, — сказал Коваль и от удовольствия даже приотпнул.

Злыднев покачал головой:

— Верно-то это верно, но я скажу в защиту товарища Гладких: это хорошо, что он хочет идти прямым и чистым путем. Ему это большое уважение, но партия не может ко всем коммунистам относиться так строго, как он к себе относится.

— Ай да дочка! — говорил Шалавин и обнимал улыбающуюся Шуру.

— Ну, товарищ Лобичев, спасибо! Ты нам в группу прислал такую умницу, а то пропадали мы через ученость Гришина. Она все нам объясняет, как, отчего и почему. Молодая ведь, а историю рассказывает, точно сама вместе с Лениным на втором съезде меньшевиков крыла. Верно. Василь Егорович? — обратился он к Злыдневу.

Злыднев ласково посмотрел на Шуру и кивнул головой. Шура краснела и улыбалась под пристальным и веселым взглядом Лобичева. Приятно было, что он, ее начальник, слышит эти похвалы, и особо льстило молчаливое одобрение Злыднева. Ведь на курсах Злыднев самый старый член партии, и что она, девчонка, по сравнению с ним?

— Да разве я, товарищ Злыднев, для вас об чем новом рассказываю? — спросила она. — Ведь вы сами все это пережили. . .

— Конечно, — ответил Злыднев, — но одно дело — пережить, а другое дело — понимание событий.

— А ты с которого года? — спросил Коваль.

— Давненько, — по смутившись, сказал Злыднев. Присущая старым большевикам, выработавшаяся за долгую конспирацию и самоотверженное участие в общей борьбе личная скромность не позволяла говорить о стаже. Но разу заворожались воспоминания. — Давненько! — машинально повторил он.

— А как же это было? — спросил Лобичев.

— Что было?

— Да вступил-то как?

— Ну... — Злыднев словно книгу, дочитанную почти до конца, перевернул и посмотрел начало. — Тут и не расскажешь, как это произошло. Но если считать начало, то его надо брать, когда я дом продал. Да... а было это тому назад тридцать с хвостиком.

— Как это дом продал? — спросил Гладких.

— Да тут долгонько рассказывать. Продам дом и пошел войной на капитал. — Он засмеялся.

— А ну, расскажи!

— Да чего!

— Расскажи, Егорыч, — попросил Шалавин.

— Ну, чего ж. Сам я московский по происхождению, стал работать на металлургическом заводе Гоппер. Теперь он — уже в линии города, но тогда окраиной считался...

— Я знаю, — сказал Васильев.

— Нас трое работало: отец, брат и я. Потом брат уехал в Питер, и вот узнаем мы: за политику его арестовали. Немного прошло — отцу смерть подошла. Он, правда, старый был, упал на заводе, принесли домой; с неделю проболел и умер. Однако, я по тем временам зарабатывал хорошо, остался с матерью, сестрой, да жена молодая насносах. Я хоть был молодой, но очень привержен к религии, как наша вся семья — попу постоянный доход.

— Вот это здорово! — удивился Коваль.

— Да... Теперь так вспомнить противно, а ведь даже по тем богобоязненным временам и то какой ужасный был молитвенник: на всенощную в церковь, к заутрени всегда ходил, и разговор у нас дома всегда был церковный, иконы носили, молебны служили. Тьфу! Тьфу!

И видел ведь я, что плохо живется пролетарию, не сле-

пой ведь был, но все, главное, уповал насчет царствия божия».

— Здесь, мол, страдаем, а там погуляем? Верно? — вставил свое Коваль.

— Вот оно и есть... Ну, одним словом, был отсталый. И вот взошла мне мысль, чтобы построить себе домик. Оно верно, тесно было на квартире: комната да кухня, а тут еще ребята пойдут.

«Ну и, товарищи, влез я в долги, да отцом малость накоплено было — и вот построил себе хоромы.

«И враз у нас по слободке пошел разговор, что вот Василий Егоров Злыднев, какой солидный господин и хозяин, поставил дом. С уважением относятся и ломают шапки. Шутка ли, домовладелец!

«А я через этот дом хуже жить стал, потому весь в долгу; чай без сахара стали пить и мяса почти не видим.

«И вот, как сейчас помню, в воскресенье прихожу из церкви — сидит мой старший браток, его в ту пору из тюрьмы выпустили. «А, — говорит, — здорово! Ну, что, намолил себе горб?»

— Вот это так! — вставил одобрительно Коваль.

— Ну, я, делая ему уважение, как старшему, как бы не замечая его надсмешки, отвечаю вежливо, что, мол, в церкви был, и служба прошла великолепно.

«Но сам смотрю, — у меня все бабы с мокрыми глазами. Стало быть, этот разговор идет давно. Но я начинаю спрашивать, откуда он и как.

«А он ведет свое: „Вот через таких дураков и пропадем... Эх, Васька, Васька! Чушка ты, а не рабочий! Понимаешь ли ты, что являешься бараном, которого стригут? Ты плюнь на богов и попов, а смотри в жизнь, как она идет, и понимай ее! Знаешь ли ты, кто фабрикант такой этот Гоппер, что он пьет кровь рабочих и с них живет, и что весь этот кровопийный класс...» — и пошел и пошел. Ну то, что он рассказывал, — это теперь вы ясно понимаете, можно сказать, азбука. Но тогда мне это было в новинку, и, представь, товарищи, я даже не спорил, все сразу понял: и насчет капитала, и насчет эксплуатации, и насчет социализма. Все понял точно об этом уже знал, но слов своих не знал».

— Верно, — сказал Васильев, — это и я так же.

Лобичев утвердительно кивнул головой, а Коваль, лихо повернувшись на каблучке, сказал:

— А я так большевичонком и родился, — как свет увидел, так разу: тятка, мамка, пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Публика засмеялась его балагурству. Васильев, нахмурившись, прервал его:

— Брось, Коваль, шутовать! А ну, Василий Егорович, дальше!

— Так он мне все и рассказал. Однако, насчет бога я еще не отказался. Да и насчет царя неясно. Все мне казалось, что его можно как-нибудь повернуть за нас и наши интересы. Целую ночь мы не спали, проговорили с братом. И вот прихожу я утром на завод и вижу все по-другому, чем вчера, и злость такая берет, прямо глаза бы не смотрели, особо на мастеров и инженеров.

«Ну, и прошел я к своему станку — тогда я на большом работал, точил штуки пудов на четыреста, пятьсот. . . И вот устанавливаю я этукую в патрон — это очень трудно верно выверить центры, чтобы не било, и большой специальности требует. Устанавливаю я и ворчу и ворчу потому что несносно мне все. . .

«Ну, тут мастер был, этакий хроменький немец, с костылем все ходил, стерва такая, беда! Услышал он мой ворчок, подошел: „Ти что, Злыднев, ти что?“ — „Ничего“, — говорю, а так у меня вчерашний братний урок на языке крутится, так бы ему вклеил, стерве!

„Молчи, — говорил он мне, — ти. . . молчи“. А я: „Чего молчать-то?“ Посмотрел он на меня и ушел. Но вот, гляжу, шкандыбает он обратно, враз приносит чертеж и говорит: „Выймай и становь вот это“. Я обомлел. Выходит, я час даром проработал и теперь должен начинать сначала. И вот во мне все кипит, но я как бы не расслышал и зажимаю ключом кулачок патрона. А он: „Я тебе говорю. Ти слышишь?“ Посмотрел я на его глаза зеленые и начинаю ему объяснять, что я уже эту вещь установил и что накладно мне будет начинать другую работу, но голос у меня от злости срывается. А он еще пуще кричит, костылем стучит и ничего слушать не хочет.

«А вокруг собрались ребята и надо мной же потешаются, поддразнивают. Посмотрел я на них. И стало мне горько, невозможно удержаться, и говорю я им: „Эх вы, серые черти! Вот такая сволочь над нами издевается, а вы, вместо того, чтобы у него костыль отнять, да ему по шее, так над своим же братом смеетесь!” Как я сказал: «Костыль отнять», — то он сгинул и за весь день ко мне и не подошел.

«Наутро мне в проходной говорят: „Ты уволен”. Вот тебе раз!” „Как уволен? Да не может этого быть!” Показывают письменное распоряжение от главного инженера. Но я, конечно, догадался, откуда ветер дует, и пошел домой. Бабам не сказал, назвался больным, а брату рассказал. Он меня еще поднакачал. И каждое утро три дня подряд ходил я на работу, и все меня не пропускали. Потом пропустили, но прямо к директору в кабинет».

— Здравствуйте! — ахнул Коваль. На него зашикали.

— Вхожу в его стеклянный кабинет. Там за столом посередке директор, об одну его руку — жандармский офицер, о другую — главный инженер, и тут же мой немец с костылем стоит. И вот говорит директор офицеру, указывая на меня: „Видите, ваше благородие, вот этот хам и мерзавец, эта разбойничья морда, он хотел сделать насилие над этим богобоязненным старичком, над этим тихим человеком, который и мухи не обидит”.

«Это про него-то — „тихий человек!” Ну, я отвечаю: „Неверно, я ему ничего насильного не сделал”, — и хочу объяснить всю историю, а жандарм на меня: „Молчать, сукин сын!”

«Я замолчал, и вдруг мне стало даже смешно, и разом я успокоился, что все получается так, как брат мне рассказал: вот сидят они — директор, инженер и жандарм. Над ними — царский портрет, одно слово — капитал. И перед ними я стою, безответный рабочий, и они меня судят. По какому праву?

— Остановите этот разговор, — говорю я. Должно быть, очень веско я сказал, что немец перестал говорить. — Нам судиться, — говорю, — не об чем, нас время рассудит, кто проав: рабочий или капитал...

И вот все, что мне брат рассказал, я и переложил, и,

должно, хорошо переложил, потому что меня прямо с директорского кабинета да в участок, и там просидел я неделю. Потом как выпустили, пошел я по Москве наниматься. Однако нигде не берут, уж попал я в черные списки...

«А как сидел я в тюрьме, то я всю свою программу до конца обдумал, что мне дальше делать. И главное — дом вяжет мне руки. И вот вышел я из участка, пришел домой, собрались ко мне ребята, и сразу же им я говорю:

— «Так и так, почтенная публика! Покупай дом, кто деньги имеет, да гони сейчас монету — тому сразу продам.

«Бабы мои — и рев, а брат мой, который меня учил, испугался, сам отозвал меня и говорит: „Да ты что, Василь, пьян? Чего дуришь? Уедем давай сейчас, я тебе помогу устроиться, но ты матку да жену оставь пока, а потом имущество продаешь?“

— «Нет, — говорю, — брат, спасибо тебе за то, что ты меня наставил, но через это мне все стало ясно. Как-нибудь уж вывернусь, но камень на шее, который мне мешать будет бороться, я иметь не хочу!

«Так-то, ребятки! Вот с этого времени я считаю себя коммунистом, потому что у меня стали развязаны руки...»

Шура смотрела на воодушевленное, чисто выбритое, усеянное чутошными серебряными волосиками лицо Злыднева и вдруг подумала, что вот тогда, тридцать лет назад, этот старик уже начал класть фундамент того здания, которое уже высится над миром, и она с теплотою товарищеской обвела взглядом всех ребят, собравшихся вокруг Злыднева. И глаза ее, точно вглядывающиеся в младенческое прошлое их класса, встретились со взглядом Лобичева, и почувствовала, что он думает, примерно, что и она. И это ей было приятно. Несколько секунд длилось молчание. Первым нарушил его Гладких. Он сказал, упрямо склонив голову:

— А я смотрю не так, как ты, Василий Егорович. Разве коммунисту нельзя иметь дом? Чего ж...

— Чистó! — сказал насмешливо Коваль. — Да какой же ты коммунист после этого? Ты — мужик, и твое мужицкое счастье — обложиться навозом, курей, коз, и всякую другую сволочь развести. Нет, я считаю, Василий Егорович поступил как коммунист, и всем нам в пример. — Коваль победительно глянул на Гладких.

— Ну, это по силе... — примирительно сказал Шалавин. — Василий Егорович тогда был молодой и сам за себя боялся, не потянет ли его дом к старому. Ежели коммунист чувствует себя очень крепко, он и дом иметь будет — да сумеет от него отказаться, когда надо, и детей любить будет — да бросит их на голод и холод. А слабому коммунисту лучше быть одному. Потому, чем слабей ты себя чувствуешь — тем строже надо вести. Верно, Василь Егорович?

Злыднев утвердительно махнул головой. Прилив разговорчивости у него отошел, и он уже молча шурился своими бледными, точно выпитыми глазами, и похоже было, что он вглядывается в прошлое.

— Однако вот я, — продолжал Гладких, не слушая. — Вот у нас есть дом и пахоть. Ежели по-русски считать, то наше хозяйство — кулацкое. А вот я взошел в партию.

— Когда же ты взошел? — насмешливо спросил Коваль. — В двадцатом?

— Ране тебя, — с тяжелым спокойствием ответил Гладких, — с марта семнадцатого. Но я большевиком стал когда еще не знал — какие это большевики есть.

— Чистó! — опять с насмешкой вставил Коваль.

— Брось, товарищ Коваль, — примирительно сказал Шалавин, — что ты его подначиваешь! ¹ А ты, Иван Карпыч, расскажи, как же это так вышло.

Гладких несколько секунд сумрачно смотрел на Ковалья. Потом повернулся к Шалавину.

— Было это на германском фронте. Служил я в артиллерии, и вот посадили меня на дерево, чтоб я корректировал ² стрельбу — наблюдателем, значит. И я в Цейсс смотрел за разрывами. Цейсс был очень сильный и показывал их окоп ровно под ветвями моего дерева. И вот я вижу, как ударит наша снаряд — сразу все дымом заволакивается, а потом его ветер растреплет, и видно, раненые ползут, как черви, извиваются. А тут же и скрюченные мертвецы. А потом опять набегут люди и ворошатся живые, и опять я, стало быть, сигнализирую вниз, и опять ба-бах.

¹ Подначивать — дразнить, вызывать на спор.

² Корректировать — проверять.

«И вот вошла мне мысль, словно солнцем все осветило: сижу я здесь где-то на дереве, на чужой же стороне, и быю неведомых мне людей. А за что? И никуда не убежишь, приведут обратно, как скотину на бойню. А кто? Офицерия, жандармы! А зачем им война нужна? И часто я после к этим мыслям возвращался: зачем все это, кому нужно? И вот меня смертный страх от этой войны непонятной выучил стать за большевиков уже опосля февраля. Вижу, люди прямо говорят, без лукавства: „Долой войну!“ — и называют себя большевиками. Стало быть, я уже есть большевик. Да».

Кончил он отрывисто и резко, точно обрубил. И после минутного молчания Герасименко замурлыкал какую-то военную, тоскливую, как солдатский сон, песню, которую пробудил в нем этот рассказ.

Никто больше не говорил, а уходить не хотелось. Синий вечер зажег в городе теплое золото огней. Общий разговор растекся по ручьям отдельных тихих бесед.

Шура встала и хотела уйти.

— Ты куда? — услышала она голос Лобичева. Он лежал на траве, и она еле различала очертания его тела.

— Спать, — сказала она.

— Посиди, чего тебе, посиди еще! — Он схватил ее за рук и потянул вниз.

«А почему бы мне не посидеть?» — подумала она. До этого случалось ей говорить с Лобичевым лишь о делах. Она его чуть боялась, тем более, что все врозь он был хмурый, а сегодня первый день она видела его веселым. Но ей нравилось его видеть.

— погоди! — еще раз сказал он.

— А чего мне годить? — спросила она, но не уходила. Лобичев быстро вскочил с травы.

— У меня завтра утренние занятия, — сказала она почему-то, но сказала нерешительно.

— Да и у меня тоже.

Во время этого разговора они незаметно отошли от скамейки.

— Осень подходит, последние вечерки такие приятные, — сказал Лобичев. — Идем гулять, — предложил он, и она чувствовала в его голосе трепет и пристально всматрив-

валась в его невидимое за темной лицом. Но по голосу его чудилось ей, что он ласково и просительно улыбается.

«А почему бы мне не пойти немного?» Спать не хотелось. День за днем шла работа, и хотелось, кроме нее, чего-то другого. «А велик грех — погуляю», — подумала она с внутренним лукавым смешком, и они, взявшись под руки, скрылись за углом.

Шалавин проводил хитрым, добрым, чуть завистливым взглядом их двухголовую тень, и когда через несколько минут вышел Сергей и спросил: «А ты Иванову не видел?» — то помолчал Шалавин и потом сказал:

— Нет, не видал.

— А Лобичева?

— Ушел он.

— Куда ушел?

— На Кудыкину гору, — слегка насмешливо сказал Шалавин. — Почем я знаю?

... Вода, пенящаяся и пестрая, волна, мелкая и быстрая, в разводах пен, точно большое наводнение, но не море, хотя и берегов не видно. По этим волнам, куда ни глянь, — много лодок, и больших и малых, в них люди: мужчина гребет, детских голов несколько, лодка завалена вещами. узлы (красная скатерть, и оттуда видна ручка кастрюли и мутный блеск зеркала), самовары и кучи мешков. Много лодок, много крику и шуму.

И тут же на маленькой лодочке Шура. Сама гребет, одна она в лодке, и лодка летит легко, так что дыхание захватывает.

От этой легкости и быстроты Шура проснулась. Обычно она снов не видит, засыпает разом и спит крепко до утра, и, проснувшись, всегда удивляется на белый утренний свет: кажется, что только-только положила голову на подушку.

А этот один-единственный сон, который запомнился, видела, когда болела тифом. Тифом же заболела, когда после фронта вернулась в родной город, молчаливо сходила посмотреть на дом, где выросла. Стоит этот маленький домишко в длинном законченном переулке, который ведет в депо, и потому называется переулком Депо-ским. А сейчас он называется: улица Петра Иванова. И около самого депо,

в доме, где раньше была квартира инженера, помещается клуб, и над ним вывеска: «Клуб имени машиниста Петра Иванова». А тело Петра Никифоровича Иванова, отца ее, взорвало вместе с паровозом того эшелона, в котором ехали и не доехали колчаковские егеря на усмирении партизанского восстания. Шуру исключили из городского училища за большевика-отца. Чтоб миновать смертной участи, бежала Шура поближе к красному фронту. Там нырнула в организацию, а потом, когда взяли город наши, пошла она в Красную армию инструктором, организатором подива¹.

После тифа — партшкола. Кончила ее и захотела опять в армию. Свыклась с армейским обычаем, отчетливым и точным, и не тянула к себе сложная путаница гражданской жизни. И вот один из бесчисленных учетных щупальцев Розова нашел ее, извлек поближе к розовским очкам. Рассмотрел ее Розов и послал на курсы.

А сон этот Шура вспоминала, когда думала с своей жизни. И когда Лобичев спросил:

— Это ты здесь снята?

— Я, — она ответила, вспомнила сон и, не глядя, надевала сандалии на свои неизуродованные обувью крепкие ноги. Знала, что смотрит он на фотографию, где маленькая кудрявая шестилетка улыбается с плеч рослого, тоже кудрявого человека в пиджаке поверх косоворотки. Стоит эта фотография на письменном столике в комнате, где ранее помещался Миндлов. Сейчас здесь живет Шура, и стало здесь так уютно, что не хотелось уходить.

— Большевик? — спросил Лобичев, рассматривая на фотографии сильное и умное лицо, словно затаившее в себе что-то.

— Да... он погиб только... взорвал паровоз... с егерями... Он машинист был...

— А мать?

— Умерла еще раньше.

— А, — протянул сочувственно Лобичев. — Ну, иногда одному лучше, — верно?

— Как сказать, — ответила она и посмотрела на него. Взгляд ее был внимателен и быстр. Потом повернулась спи-

¹ Подив — политический отдел дивизии.

ной к нему и пошла вперед. Он смотрел на ее тронутую загаром крепкую шею, на тоненький золотистый язычок волос, кудрявившийся в затылочной ямочке.

«Ведь она кудрявая», — подумал он, вспомнив фотографию.

Вчера Лобичев и Шура с часок походили по пустым и темным переулкам, мимо шелестящих черной листвой палисадов, пришли к пруду, над которым колыхались светлые дымы тумана, но не было ни любовного разговора, ни объятий. Ходили, смеялись и разговаривали два товарища.

А сейчас пробыли вместе пять минут, несколько слов сказали. И о чем? Так, ни о чем... Но взглядами точно перекидывали что-то друг другу, и уже знают они друг о друге то, чего не знали раньше, и разговор не идет так спокойно и легко.

А врозь уже стало скучно. Раньше Шура все больше с Сережей бывала, а теперь перестала слушать его веселую болтовню и часто отвечает ему невпопад. ~~Сережа~~ — хороший, она это знает, и умный, и читал много, и говорит как будто глаже, чем Гриня, а с Гриней бывать лучше.

«Гриня», — думает она про него с нежностью, когда вспоминает его крепкую фигуру, твердую походку, крутой обрыв лба, но называет его попрежнему: Лобичев, товарищ Лобичев.

— Шура... Здравствуй, Шура, — говорит он, ласкает ее взглядом и не скрывает, что приятно, окончив занятия, с чувством радости и бодрости увидеть ее ласково улыбающееся лицо и не особенно большие голубые глаза в золотой тени густых ресниц. И не было, как раньше с Варей, что курсы — одно, любовь — другое, и одно мешало другому. Шура стала неотъемлемой частью курсов. Она была насквозь пропитана их интересами, и часто вспоминал Лобичев ласковые пальцы Шуры, разрисовывавшие рекомендательные списки библиотеки.

Но любовных слов не было, и не было ни поцелуев ни объятий. В разговоре о фотографической карточке почувствовал Лобичев, что Шура одинока и что одиночество это ее тяготит. Сам он не понимал одиночества, товарищеский воздух курсовой работы непрерывно заполнял его, и не одиночество толкало к Шуре, а другое, теплое и темное по-

буждение. Но он объяснял ее влечение к себе только боязнью одиночества. Поэтому он сдерживал себя и не делал того, что ему хотелось делать: не целовал и не обнимал ее.

Но во время долгих вечерних прогулок все чаще и чаще замолкали они и, не прекращая быстрого и дружного шага, тесно прижимались друг к другу. И тогда прерывисто становилось дыхание обоих, чаще и крепче удары сердец, а все мысли из головы уносило точно теплым и могучим ветром.

А по вечерам все трудней и трудней было расставаться. В двенадцать запирались все курсовые здания, и это ставило предел их прогулкам.

Но в эту молочно-голубую ночь полнолуния и веселых облачных кудряшек, разбросанных по всему широкому и малозвездному небесному своду, особенно не хотелось уходить и оставлять друга.

Долго стояли у двери, долго говорили о каких-то сегодняшних пустяках, условливаясь о чем-то на завтрашний рабочий день, и это давало минуты задержки, и можно было видеть блестящие глаза и улыбку друга и, держа руку, перерубать его пальцы.

Потом разошлись. Сторож с ворчанием запер дверь за Шурой, а Лобичев пошел к большому зданию курсов, где он попрежнему помещался в одной палате с Савкой Туринских. Но дверь уже была заперта. Он нерешительно стукнул. Ему не открыли.

Еще раз стукнул. Молчание, черное ночное молчание. Конечно, если поднять стук, то дежурный проснется и откроет, но неудобно: будут болтать, что Лобичев нивесть где шатается.

Он тихонько выругался и пошел на середину двора, следя за своей синей тенью, ползущей впереди его по земле, на которой каждый камешек, каждая травинка видны были в молочно-голубом мягком свете. Было тепло, как днем.

«Пересплю на дворе, — решил Лобичев и повеселел. — Вот ведь привычку получил спать в постели. А ну, вспомним старинку!». Он пошел в сарай, достал два полена, положил их на бревна вместо изголовья, из того же сарайчика натаскал соломы, одну полу шинели постелил, другую

покрылся — и заснул таким веселым и тонким сном, что сквозь него, как через кисею, видел голубую ночь и слышал лай собак и пронзительные гудки со станции. Один из таких гудков, верно, и пробудил его.

Похоже, что спал он не больше полчаса, — восход еще не белел. Но луна достигла предельной силы своего холодного разгара, изменившиеся олунившие цвета предметов выступали ярко, как днем.

Похоже было, что Лобичев уже выспался. Мысль работала сильно и ярко. Он подумал о Шуре, живо представил себе ее счастливое лицо и тихонько сам себе засмеялся. «Ведь она меня любит»... И эта мысль, которую он гнал днем, сейчас казалась ему несомненной. «И чего это мы тянем», — подумал он.

Он глянул на дом, где она жила. Под лунным светом выделялось каждое бревнышко, каждый сучок на нем. Среди блестящих окон он заметил только одно чернеющее темнотой. «Ну, да, оно открыто... А те закрыты... Ведь это ее окно»... Он двинулся всем телом, оглянулся кругом: белый шар луны, бледные звезды, голубые легкие стружки облаков, тихий шелест деревьев и их узорные тени.

Он легко, быстро и бесшумно встал и пошел к ее окну. После бело-голубого мира в комнате было темно, и на белом квадрате оконного отражения, лежавшего на столе и на полу, он ясно увидел круглую тень своей головы да тонкие ноги стула. Сердце его билось сильно и нервно.

— Шура! — сказал он громким шопотом. — Шура!

Никто не ответил. Он прислушивался и сквозь мерный гул крови в своих ушах услышал из комнаты тихое дыхание, и сердце его дрогнуло нежностью. «Зачем я ее бужу?» — подумал он и оглянулся назад. Ласковая ночь ничего не ответила. Попрежнему легко и быстро идут в небе облака, и чуть шелестит синяя листва тополей. Хотелось еще раз позвать ее... «Если испугается — значит, не любит, если обрадуется — значит, любит. Верно! Верно!»

— Шура, — позвал он почти громко. — Шура!

В глубине комнаты зашуршало что-то белое. Несколько секунд молчания, и ее мягкий голос тихо и радостно спросил:

— Гриня? Гриня, это ты? Погоди, я сейчас.

Она и не заметила, что назвала его не по фамилии, а по имени, которое не раз про себя шептала.

А он уже забыл, с чем связывала радость в ее голосе. Он вглядывался в окно и увидел, как из темноты комнаты поднялось что-то белое, увеличилось — и вот она в наспех накинутой белой кофточке, заспанная, но радостная, подошла и склонилась к нему, и оба они засмеялись, глядя друг на друга...

— Тебе что, не отворили?

— Да, я на дворе лег... Видишь, — он указал на бревна, где ярко белели берестой березовые дрова и черной кучей лежала его шинель.

А дальше говорить было нечего, то есть, у него мелькнуло: спросить, зачем она открывает окно, но это было件 unnecessary, и он не спросил. Когда она ответила, и он увидел ее, было легко и весело, как обычно при свиданиях днем. А от этого молчания, от ее лица, которое после сна казалось точно необычайным, от блеска ее глаз сердце опять стало биться сильно, все сильнее, сильнее, так что оно своими ударами точно толкало тело... И он в этот момент точно испугался того, что будет делать, потому что чувствовал он, что находится его воля не как обычно под властью мозга, а под властью мускулов и горячей крови.

— Шура! — сказал он преувеличенным шопотом, легко подымаясь на руках и ставя колена на подоконник. — Поддержи стол, чтобы не упал! Шуринька!

Из самой далекой глубины пришло это ласковое слово, первое любовное слово Лобичева:

— Шуринька...

Дрожь веселыми огоньками пробежала по ее телу.

— Что? — спросила она, но уже какая-то ласковая лень сковала всю, и она вялыми, точно чужими, руками поддерживала столик.

Список начинается Смирновым. Дальше — Коваль, Герасименко, одна под другой восемь фамилий, каждая фамилия выведена четким и точным почерком Арефьева. Вечерет, на дворе — золотистый свет и гомон, курсы живут. Здесь тихо, в углах уже синий сумрак, и Арефьев склонился

над списком. . . В соседней комнате кто-то быстро брякает костяшками счетов.

Надвигается чистка, и Арефьев долго раздумывал, прикидывал, кого надо исключить. И вот — восемь человек налицо. Это — дезорганизаторы курсовой работы, плохие партийцы, люди без пролетарского классового мировоззрения. Арефьев последний раз перебрал список. Да. Все восемь. Спросил у своей совести. Но совесть Арефьева никогда почти не расходится с умом, и если ошибаются — то вместе.

— Лакрицын! — крикнул Арефьев.

В соседней комнате бряк счетов прекратился, и на цыпочках начканц Лакрицын вошел в кабинет Арефьева.

— Чего изволите, Георгий Павлович?

— Садись за машинку. С копией. «В райкомиссию по чистке РКП. Арефьева Г. П., члена РКП(б) с 18 го, билет номер такой-то, заявление. . . Как коммунист, считаю своим долгом. . . своим долгом довести до сведения комиссии, что, будучи на должности начкурсов и вот уже четыре месяца наблюдая слушателей, я составил самое отрицательное впечатление о партийной физиономии нижепоименованных товарищей». Непечатал? — Арефьев мерно ходит по кабинету, гладко, словно из книги, диктует, Лакрицын, одобрительно покачивая головой, быстро щелкает на машинке.

— Кончил? — спрашивает Арефьев. — Проверь!

Арефьев, задумавшись, мерно ходит по комнате. «Итак — чистка. Дело понятное, время опять наступает опасное, хотя — когда оно не было опасным? Партия должна быть как из одного куска. Прочь всех колеблющихся!» И сразу ассоциация выдвинула образ Кононова, однорукого секретаря ячейки. «Да, это — секретарь!» Но Арефьев морщится: любит он власть и, отдавая должное Кононову, не может он не чувствовать, — то что не мог получить Смирнов — вожди управления Арефьевым, как коммунистом, — без нарушения устава, без столкновений получил этот молчаливый Кононов. Морщится Арефьев, без усталости шагает по комнате. . . Солнце только село, под небом еще светло, а в углах комнаты уже паутинка темноты. Лакрицын щелкнул выключателем, и электричество бесшумно смывает тени. Лакрицын кладет перепечатанные листы на стол

Арефьева и с уважением заглядывает в книгу, лежащую на столе: в ней непонятные острые буквы.

— Немецкая, — говорит Арефьев. — Это — Энгельс. К завтрашней лекции по военному строительству.

Лакрицын вздохнул и печально вымолвил:

— А у меня, грешного, каждый день одна работа: удостоверения, справки, ведомости... Беда! Даже таким-этаким, — и он покрутил пальцами в воздухе, — умственным никак не займешься и даже о нашей программе не можешь подумать.

Он сел у стола и стал перебирать брошюрки. Ленин... Речь на VIII съезде... Национализация земли.

И вдруг спросил вслух:

— Вот, Георгий Павлович, хотел я спросить вас один вопрос, как его надо понимать: кто у нас будет по должности выше: председатель губчека или же секретарь губкома?

— То есть как? — переспросил Арефьев, останавливая шаг.

— А так. Очень это тонкий политический вопрос, я об нем никак не могу понять. Ну, вот, скажем, товарищ Калинин... Они будут вроде как президент, а товарищ Ленин вроде как премьер-министр. Но тоже не подходит. Ведь Ленин-то у нас важнее! как это понимать? Ну в губернии оно как бы понятней получается. Предгубисполкома, он — в роде губернатора, а председатель совета — как бы городской голова, а предчека, выходит, как бы жандармский ротмистр. Но секретарь губкома — никак я понять эту должность не могу.

Арефьев с усмешкой наблюдал Лакрицына. Говорил тот мерно, чуть раскачиваясь, с удовольствием отчеканивая советские названия. Приятно было после целого дня надоевшей канцелярской работы вести умственный разговор с уважаемым начальником.

— Мало ты читаешь, Лакрицын, тогда бы ты таких вопросов не задавал. Я тебе дал Стучку. Ты прочел?

— Нет, времени не было.

— Напрасно, надо найти время... — Арефьев ходит по комнате и ясными словами объясняет Лакрицыну отношение между партией и советами и особенности советской конституции.

— Понял? — спрашивает он под конец Лакрицына.

— Так точно.

— Ну, иди!

— Спокойной ночи, Георгий Павлович!

Опять в соседней комнате забрякали счеты. Арефьев продолжает ходить по кабинету. Читать сейчас не хочется. Если бы был какой-нибудь товарищ, Арефьев с удовольствием поговорил бы, но кроме Лакрицына у Арефьева ни одного близкого человека. А с Лакрицыным скучно: никак из него не выбьешь этого подхалимства военного писаря к офицеру.

— Георгий, иди чай пить! — раздается из соседней комнаты голос жены. — Георгий!

Арефьев, не отвечая, продолжает шагать. В свою комнату не хочется идти, не хочется встречаться с женой. Вот и Лобичев женился... Как все-таки странно — женился. а... ничем как-то не отмечено... Конечно, свадьба, оглашение — все это старые предрассудки, но все-таки странно как-то... Хорошая эта девушка — Иванова... пара хоть куда... Да, если бы теперь он был молод, все бы он начал по-другому... Хотя — глупые мысли, ненужные мысли...

— Лакрицын!

— Чего изволите, Георгий Павлович?

— Завтра переселись в комнату товарища Ивановой! В твою комнату пусть перейдут Перепелицын и Алексей Степанович, а в их комнату товарищ Лобичев и товарищ Иванова. Понял!

— Слушаюсь, Георгий Павлович!

— Иди!

Опять шелканье на счетах, четкий шаг Арефьева и ровное течение его мыслей.

«Да, так будет лучше. Лобичев последнее время халатен, да и девочка, наверно, позевывает на занятиях... Но это законно и понятно... Однако, нужно регулировать жизнь».

— Георгий!

— Иду, иду.

Арефьев удаляется, хлопает дверь его комнаты. Шелканье на счетах, изредка прерываемое бормотанье Лакрицына, про себя шепчущего какие-то параграфы, — только это слышно из окон канцелярии.

— Слыхала? — говорит Лобичев Шура. Они с книжками сидят под окном кабинета Арсфьева и слышали все. — Даже и не спросил, хотим ли мы вместе жить?

— А ты как? — спрашивает Шура.

— Да что ж, так будет лучше, правда?

— Правда. Только он распоряжается уж очень... как барин. Не нравится он мне.

— Кто, Арсфьев?

— Ну да. Да и этот — холуй. Вот — гад!

— Верно, что гад. Ну, давай читать!

Несколько секунд молчания. Бряк счетов, шелест страниц, гик и говор со двора, и Шура опять говорит:

— Ты Сергея видел?

— Нет. Он прямо после занятий ушел куда-то.

— Ты знаешь, он злой стал!

— Ничего не поделаешь.

— Верно.

Лобичев смотрит сбоку на эти целованные щеки, золотисто-белый кудрявящийся чубок, выбежавший на ровный лоб. Напоминание о Сергее, который погрузился в себя, вызывает еще больше веселой нежности. Он обнимает ее и целует. Книжки с шелестом валяются на землю. Потом Шура говорит решительно:

— Нет, Гриня, так у нас ничего не выйдет. Ты иди читать в библиотеку, а я пойду к себе в комнату.

— Ладно, — отвечает Лобичев, вставая и решительно нахлобучивая шлем, — и до одиннадцати ни ты ко мне, ни я к тебе. Идет?

— Идет, — менее решительно говорит Шура. — До свиданья, Гриня... Милый мой... Придешь?

— А уговор?

— Нет... после.

— Об чем разговор! Ну, до свиданья.

С колокольни тягуче и мерно протекли восемь ударов.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

«Здравствуй, товарищ Миндлов! Очень мне тяжело писать это письмо, но получив твое, что ты уже поправляешься и тревожишься, что нет писем от жены, то я решил, что настало время тебе сказать то, что было от тебя скрыто мной и товарищем Розовым.

За несколько дней до твоего отъезда на твое имя пришла телеграмма из санатории, что жена твоя умерла.

Вот написал и думаю, чего же мне дальше писать? Он, верно, и не сможет читать от горя! Но когда твое горе пройдет, ты тогда прочтешь. Но я тебе должен объяснить, что мы это скрыли от тебя потому, что боялись, что ты не перенесешь ее смерти. Теперь же, когда ты поправился, я считаю, что обманывать тебя больше не приходится. И ты, когда горе твое отойдет, как рассуждающий коммунист, одобришь нашу ложь.

Теперь ты спрашиваешь, что есть нового на курсах? Писать можно много чего, и первое — что мне пришлось стать начальником курсов, а Сергею — начучебом, и произошло это из-за чистки и очень неожиданно.

Ты, наверно, подумал что Арфьева вычистили, но ничуть. Я боялся, что будут демагогические выступления, когда его чистили, от Смирнова и К^о, но они вели себя хорошо, и даже накануне собрания Николай Иванович в разговоре со мной сказал, что Арфьев — очень почтенный коммунист, и он против него выступать не будет и злобы на него не имеет. И вот началось собрание. Выходит Арфьев и рассказывает свою биографию, что он дворянской семьи, и как он из военного училища был исключен за прокламацию, и как он меньшевиком был и об своих меньшевистских взглядах, и обо всем говорил так прямо и свободно. Я еще сказал про себя, что какой он человек твердый и что вот таких интеллигентов надо бы побольше. Но выходит — слишком рано сказал.

И вот обсуждаем мы Лакрицына. Может, ты помнишь: это наш начканц зализанный. Комиссия решила его отчистить, как балласт и чуждый элемент. И вот он встает на свою защиту и в речи высказывается политически-невежественно, а социальность его — из богатых крестьян военный писарь. За него никто. Против выступила товарищ Иванова, это — наш новый группрук. О ней я еще напишу. А Лакрицын, когда речь свою говорил, то все поминал про Арфьева, что Арфьев его знает и что он его провел в партию. И Арфьев начинает говорить, что Лакрицын — выдержанный, дисциплинированный партиец и что он хотя программу не знает, но нутром за нас.

И тут выступил Шалавин. По своей зоркости он заметил то, что мы еще в Арфьеве не замечали: что Арфьев отстаивает Лакрицына потому, что Лакрицын ему послушный холуй. Вот как это Шалавин сказал, то и я подумал: вот оно, сказывается офицерское стремление наградить холуя. Но чем? Партией. И мне стала обидна такая его политика. И вот мы проголосовали и Лакрицына отчистили.

А дальше — больше. Чистим Ковалья, и враз Арфьев против него выступает. Говорит, что Коваль — люмпен-анархист, что в партии ему не место уже потому, что он пьяница. Но тут уже пришлось и мне выступить, потому что Коваль был в моей группе. Я сказал, что Коваль, верно, — не без греха, но после твоего доклада много ли держалось так стойко, как Коваль? Коваль, хотя он часто и болтает, что ему на язык взбредет, но он — стойкий и он нам активно очень помог разоблачить Дегтярева. И он действительно был бродяга, это в нем ска-

зывается, но разве по своей нужде? Его безработица злела, он был в резервной армии капитализма, и если партия будет такими шныряться, то горе ей! Так я сказал, и комиссия согласилась, что Копала надо оставить, и предложение Арсфьева мы провалили.

Потом товарищ Арсфьев выступает о Михалене, что его надо исключить, но этому никто не возражал, и комиссия, которая вначале постановила оставить, заслушав слово Арсфьева, тоже постановила исключить, как чуждый элемент. Но когда он против Михалена выступал, то я подумал, что его линия — исключить всех, кто против него шел и бузил. И верно. Оказывается, когда перешли к Смирнову, то и тут его заявление. И он говорил о нем, что это — бюрократ, который не захотел подчиняться ни военной, ни партийной дисциплине, и пьяница, и оторвавшийся от партии.

И опять выступал я в заступу и очень резко поставил вопрос. Говорил, что мы — не секта и не можем исключать за мелкие провинности. Мы должны стремиться, чтобы наш член эти провинности загладил. И если у Смирнова, сказал я, были неправильные поступки, то я, как руководитель группы, должен сказать, что последнее время занимается он хорошо. И вот, Миндлов, тебя не было, и ты не видел, как относились к Арсфьеву в начале собрания хорошо и как стали относиться плохо к концу, даже я и Сергей.

Но дальше получилось еще хуже, потому что его самолюбие не вынесло такого позора, что его предложения были провалены. И вот он подает рапорт об уходе с курсов и об замене его мною. Розов меня вызвал и расспрашивал, как и что. И когда я рассказал о выступлениях Арсфьева на партсобрании, то Розов сказал: «Верно, ему более на курсах нельзя оставаться». И вот Арсфьев уехал в Москву, в Академию генерального штаба.

Еще о чистке: Сергей выступал против Реховского, что его надо исключить за интеллигентство, но доказать ничего не мог, что когда была пьянка Смирнова и К^о, Реховский был и видел, что они пьют (и верно, Смирнов подтверждал, что он входил), но не сказал, чтобы они прекратили, и вообще, якобы, утаил, что видел пьянку. Однако, Реховский сказал, что он не понял, что они пьют. Сослался, что ты там был и тоже не понял. Я выступил за Реховского и сказал, что Сергей хочет, как поп, читать в сердце, и верно, конечно, что Реховский — интеллигент, и нам его надо переварить. Комиссия постановила его оставить, но сделать ему замечание. Еще у нас был спор насчет Помадочкина. Ты, верно, его помнишь: белесый, из опродкомдива. Я выступал против него, как чуждого элемента, и многие были со мной согласны, но комиссия постановила его оставить.

Итак, мне пришлось быть временно исполняющим должность начальника. Теперь мы готовимся к выпуску. Ребята, видно, очень устали. Я даже урезал программу, чтобы дать отдых и организованный наш клуб теперь работает очень регулярно. Кроме того, при помощи губкома немного улучшили питание (теперь у нас обед из двух и порцию на ужин увеличили). Губком договорился с командующим о демобилизации половины состава курсов, так как очень необходим ему работники. Потом вообще предполагают слить курсы с местной

партизколой, которая разваливается. Сейчас у нас парторбота идет очень хорошо, секретарь ячейки Кононов-однорукий — ты, верно, помнишь? — очень взял твердо линию, и мы с ним сработались. На наших бузотеров он такой страх божий навел, что его боятся больше, чем боялись Арефьева, хотя Кононов никогда не прикалывается.

Дорогой товарищ Миндлов, кланяется тебе Сережа, и все ребята о тебе помнят и часто спрашивают. И ты не осиротел, дорогой наш товарищ, и когда ты вернешься к нам — то опять пойдет наша дружная работа.

Есть еще одна новость от Лобичева: он женился на товарище Ивановой. Ты ее не знал, ее прислали на место Грипина. С работой она справляется. Грипина же я назначил в библиотеку, и там он очень у места, высоко поставил работу. Сергей с работой тоже управляется, но очень утомился и по окончании курсов хочет ехать учиться в Москву.

До свидания. Жду тебя.

С товарищеским приветом

Григорий Лобичев.

«Дорогой Лобичев! Три недели тому назад получил твоё письмо. Очень мне тяжело было, но теперь хотя больно об этом писать, но я все это перенес. А первое время думал, что умру от горя.

Вообще, мне трудно разобраться, что во мне происходит. Но, к стыду своему, должен сообщить, что сейчас с отвращением думаю о работе и не могу читать газет. Думаю, в скором времени это пройдет.

В общем надо сказать, что жизнью я обязан тебе и, главным образом, Тане. Она меня наэлектризовала мыслью о том, что я буду жить с Лисей, и я сейчас, когда этот обман рассеялся, вижу, что желание жить с ней меня спасло, и теперь, чтобы заменить ее... Я очень много лежу на солнце, ем виноград, купаюсь... Да вообще впереди все довольно тускло. Хотел тебе написать много, но ничего не вышло, оказывается, во мне сейчас много противоречий, например, не могу читать газет, а мечтаю о переходе на подпольную работу за границу.

Ну, пока всего.

Твой Носиф.

Лобичев дочитал это письмо, неразборчиво написанное, много раз перечеркнутое, вернулся к началу и опять перечел его, как бы терпеливо нащупывая в нем то главное, что делало все письмо непонятным и раздражающим. Когда вторично прочитал, в кабинет вошла порозовевшая от осеннего морозца Шура. В шлеме и длинной складной шинели казалась она нежным мальчиком-подростком.

— Гриня, чего ж ты не идешь? — сказала она. — Уже построились, ждут...

— Вот письмо от Миндлова получила, прочти-ка!

Она читала письмо, он глядел, как, по свойственной ей привычке, шевелила она губами, очевидно, натываясь на непонятное.

Быстро прошли для Лобичева и Шуры те первые недели, в которые трудно полчаса существовать, не чувствуя около себя любимого, когда весь мир окрашивается в чувственные цвета и веет любовными запахами. Прошли и те неизбежные дни, когда тело, получив то, чего хотело, удовлетворяется, и голова очищается от любовного дурмана, люди возвращаются к своим интересам и словно отодвигаются друг от друга, чтобы рассмотреть, кто же тот, с кем связала половая страсть? Сколько мимолетных половых союзов разрывают эти дни, сколько трещин оставляют они в глубинах самых счастливых браков, — трещин, которые скажутся через много лет.

Лобичев и Шура опять вернулись к тому, что до сближения строило их жизнь — к своей революционной работе. А работа была для обоих одна. К любви, уже вошедшей в свои берега, присоединялось с каждым днем все растущее чувство товарищества. До того, пока они сошлись, каждый из них старался жизнь приспособить к задачам борьбы и работы. И этим же задачам они, без сознательного на то желая, не сговариваясь, старались подчинять и свой молодой союз. И теперь для них наступили самые счастливые дни, освещенные ровным и теплым светом товарищеской нежности. Таким вот был и этот день, день выпуска курсов и годовщины Октября.

— Чего ж... Нехорошо ему, — сказала Шура, кончив читать. — И вообще как-то неправильно.

— А, ты думаешь? — встрепенулся Лобичев. Они молча смотрели друг на друга.

Со двора настойчиво сухо затрещал барабан. Она вскинулась и бросила на стол письмо.

— Ах, я дура, ведь мне велено себя торопить. Идем, а то ведь на парад опоздаем! Застегни нижнюю пуговицу, — и, оглядев его заботливым взглядом, она поправила складку на его шинели. — Вот совсем ладный, — говорила она. «Поцеловать бы его», — шевельнулось теплое желание. Но знала, что если поцелует, то он ответит, и она опять его поцелует, и все это будет задержка.

— Идем! Идем! — и она быстро побежала вниз по лестнице. Лобичев, не переставая думать о письме, пошел за ней следом. Он еще раз перечитал бы его, настолько оно как-то не походило на то, что он думал о Миндлове. Он хлопнул дверью и вышел во двор.

Небо — как спина рябой курицы, в бело-серебряных и серых перьях, и редко где проглядывает, как в оконце, глубокая осенняя голубизна. И такая же серая, с ослепительным серебром тихо застывающих луж, смерзшаяся, уже неживая земля; тополя опали, у их ног лежат багряно-желтые вороха листвы.

— Смирно! — радуясь звонкости и четкости своего голоса, закричал спец. И Лобичев оглядел ровную, словно по ниточке вытянутую линию строя — одинакие шинели, островерхие шлемы, на правом фланге — багрянец и золотые кисти знамени. И вспомнил Лобичев первое строевое занятие... «Эх, посмотрел бы Арефьев на дело своих рук!»

— Здравствуйте, товарищи!

— Здрав-ствуй-те! — многоголосо ответила шеренга.

Звонко покрикивал спец, и под его голосом построились в колонну, по отделениям, и шагом, гудящим по морозной земле, прошли в ворота.

Тиха и пустынна эта окраинная улица. Но там, в конце ее, где она у старой златоверхой церкви переходит в оживленный главный проспект, там движение черных толп, плеск красных знамен, и осенний воздух, прозрачный для цветов и для звуков, со всех концов города несет разноголосый говор оркестров и песен.

Пропустив мимо себя, ровно в такт, в одно движение, идущие отделения, Лобичев быстро обогнал их и пошел рядом со спецом.

— Почему отделения неодинаковой величины? — спрашивает Лобичев, стараясь говорить, не сбивая быстрого и легкого шага.

— Как же, товарищ начальник, ведь с курсов было двадцать четыре человека... Было сто... Осталось семьдесят шесть.

Все ближе грохот оркестров и гомон толпы. Через несколько минут курсы вольются в демонстрацию. Коваль —

запевало: чисто и высоко, точно в тон чистоте воздуха и высоте неба, запекает.

И бодрые слова песни, ее смелый напев словно окрашивают и делают еще ярче мысли Лобичева.

Вышли мы все из народа, дети семьи трудовой...

Да, потеряли двадцать четыре. Остальные шесть ушли по болезни. И точно сквозь задымленное стекло, Лобичев представил себе этих потерянных. Вот крестьяне Сизов и Дудырев, вот Виктор Зеленов, судорожно зажавший в руке хлебную карточку, вот золотушный Михалев в франтовских галифе, и вот ненадежный Дегтярев с лицом, смерзшимся, как ледяная глыба. А вот и Громов. Где-то он сейчас? Может, стоит на московском тротуаре, вокруг него дамочки, бывшие люди в полинялых шинелях, и он вместе с этой ненавидящей толпой, может, стоит и смотрит, — смотрит, злобясь, как по мостовой идут полк за полком, завод за заводом.

Все ближе главный проспект. Лобичев на несколько секунд оглядывается, видис сзади идущего громадного Шалавина. Над головой его трепещет знамя и переливается блеском букв. Встретился с его взглядом Лобичев; торжествен он и серьезен, а сзади него в такт колышутся рослые молодцы первого отделения, а там дальше — шлемы и шлемы, лица и лица...

Похоже, что по улице идет одно многоногое, и гулко ухаает в мелких мешанских домишках, в купецких особняках и кирпичных амбарах эхо тяжелого шага.

Это — пятый Октябрь. Без победного крика первых четырех стал он на нашу землю. Он тих и утомлен, как неодохнувший и вступивший в новую схватку боец, но лицо его спокойно, прищурены глаза, складки силы и горечи у его рта, потому что он видит голодные крестьянские поля, бездомные фабрики, а на пересек¹ах городов ничтожные, но в неисчислимости грозные, фигуры валютчиков.

Снова, как шесть месяцев назад, в высокооконном кабинете командующего долгий разговор. Но теперь не веет ве-

¹ Слово дано тов. Соколовым. (Прим. авт.)

сенний ветер в открытые окна. Уже вмазаны вторые рамы. Заклеены ставни дореволюционными газетами, серебристо-серое осеннее небо стелет над городом тусклую скатерть.

Да еще в кабинете сейчас, кроме Власова и Розова сидит маленький черный человек, представитель губкома. Тут же — Лобичев, Косихин, и Кононов в островерхих шлямах. Монотонно читает еще более похудевший Розов длинный список окончивших и их скупые характеристики, и Лобичев, слушая знакомые фамилии, точно прощается с каждым.

— Да, лучших мы отдаем вам, товарищ Сементович. — говорит Розов, окончив чтение.

— Что ж делать! — представитель губкома лукаво щурит блестящий глаз. — Ваши военные времена прошли, пришли наши. И тут ваша выучка пригодится нам. . . Должен сказать, мои впечатления по вчерашнему испытанию превосходны. . .

— Итак, я подытоживаю, — продолжает Розов. — На курсы поступило: комиссаров — 79, политруков — 13, остальных политработников — 8; итого — 100 человек.

За время курсов 18 человек исключено из партии и с курсов. Шесть выбыло по болезни. В распоряжение губкома мы передаем 40 человек, в нашем распоряжении остается 36 человек, из них комиссаров — 25, политруков — 11.

— Маловато, — сказал Власов.

— Ничего, хватит вам! Ведь демобилизация армии продолжается, — быстро сказал представитель губкома.

Розов промолчал. К чему возражать? Знал он, что прав представитель губкома: работников для сократившейся армии хватит. И знал, что Власов тоже это знает, но нельзя же не поворачать.

— Да. Не знали мы, когда шесть месяцев назад задумали курсы, что не для себя готовим, — сказал командующий. — Так, думали, передышка, дай-кось на всякий случай используем. А дело-то вон как оборачивается!

— Лобичев, а Лобичев, — окликнул он. — Лобичев! Что ты там узрел?

Заинтересованный, он, не дожидаясь ответа, подошел к окну.

На большой площади, сплошь покрытой линялой пестро-

той торговых рядов, чинили лавки, красили крыши, вешали вывески. Похоже было, точно в громадной куче отбросов возятся оазноцветные жадные личинки.

— Да, надолго устраиваются — сказал Розов, тоже глянувший через плечо Лобичева на площадь.

Командующий усмехнулся и с усмешкой же повернул лицо к остальным, что были в кабинете.

— Помню, прошлой осенью, — сказал он, — был у нас тогда секретарем губкома Шекин — верно, вы его помните — умная голова и человек очень чистой жизни. Как-то раз он пришел ко мне вместе с предисполкомом по какому-то делу и вот так же подошел к окну, поглядел и потом поморщился: «Какая гниль, — сказал он, — надо бы все это разрушить», — и, помолчав, добавил: «А здесь разбить большой сад и построить Дворец труда». И тут же об этом раздул кадило и сочинил нам целый проект этого дворца, и что там должно помещаться. Ну, был разговор, прошел... Но он мне запомнился, и как к окну подойдешь, так сейчас же вспоминается щекинский проект, и думаешь: через года три, либо четверое, а поставим мы этот дворец.

А теперь, пожалуй, не поставим? Как, товарищ Лобичев? — повернулся он к Лобичеву, и странная, испытующая и печально-хитрая усмешка сморщила его губы. — Как считаешь?

Лобичев помолчал, точно надумывая ответ, и потом сказал твердо:

— Об трех — четырех годах — это сгоряча показалось. Но через десять поставим наверняка... Поставим...

Апрель 1924 — октябрь 1925.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Привожу здесь первый текст (изд. 1926 г.) письма Миндлова к Лобичеву. Письмо характерно тем, что в нем особенно выпукло подчеркнуты: надры в Миндлова, его упадочнические настроения и социальная почва («промежуточная группа»), на которой эти настроения выросли.

ПИСЬМО

Дорогой товарищ Лобичев! Ты, конечно, поймешь, почему я тебе так долго не отвечал. Буду с тобой откровенен и со стыдом скажу, что за то, чтобы жить вместе с ней, только для этого я и цеплялся за жизнь. Это, наверно, удивит тебя, потому что коммунист должен стремиться жить, чтобы участвовать в революции. И верно, я раньше жил для революции. С 15-го года, когда я ушел из своей буржуазной семьи, и по настоящее время я горел на костре революции. Но теперь, наверно, перегорел весь. Это я понял только тогда, когда получил твое письмо. Мне расхотелось сразу жить, все стало безразличным. Но ведь революция-то продолжается! — так пытался я растолкать сам себя. Но руки остались вялыми, а мысли ленивыми. И я теперь, почти что здоровый человек, часами лежу на балконе, без мысли смотрю на жидкую пустыню моря, на зелень, на ползающих далеко внизу пестрых людей и с неудовольствием думаю, что надо через неделю из санатория уходить и браться за какую-то работу.

Ловя себя на таких чувствах, я говорю себе своим умом, который остался умом коммуниста:

«Лучше бы Лобичев и Таня меня не обманывали и сказали бы о смерти Лии, и я бы умер, потому что, все равно, я вижу, что во мне точно умерло уже то самое лучшее, что во мне было и что руководило мной, — это моя душа коммуниста. Я теперь становлюсь обыкновенным обывателем, без всякого порыва».

А иногда я думаю, что, может, это вследствие всех перенесенных ударов, и потом я поправлюсь и стану хорошим коммунистом. Но к вам я больше уже не приеду, поеду в Москву, постараюсь там остаться. Оттуда я тебе напишу, и ты туда вышлй мой партбилет.

А ехать отсюда не хочется. Я еще в детстве очень любил природу, целые дни проводил в лесу. А потом, в четырнадцатом, началась война, был я тогда еще в шестом классе гимназии, увлекался Толстым — и вдруг этот кровавый кошмар. Но, благодаря войне, я стал внимательно вглядываться в устройство человеческого общества. И в четырнадцатом же в Питере были забастовки, строили баррикады. Вначале я их осуждал за насилие, а потом, как война разгорелась, то я

заинтересовался революционерами, вступил в партию большевиков, которая против войны.

А теперь — точно этот период жизни моей кончился, и начинается опять другой. И меня опять тянет к природе, но с той только разницей, что голова-то у меня марксистская, я сознаю сам себя. Толстовство-то уже мне смешно. Я знаю, что к коммунизму можно прийти только через путь диктатуры пролетариата, который указывает революционный марксизм.

Так-то, Лобичев, я много во время болезни пережил и перечувствовал, и мне в голову приходят давнишние полузабытые мною мысли, которые я привык уже считать враждебными нашему делу. Отчего бы это? И мой марксистский ум подсказывает причину. А не под влиянием ли воспроизводства рыночных отношений появляются эти мысли? Ведь — базис и надстройка. Плохо, Лобичев, быть продуктом промежуточной группы и чувствовать тот низменный и рыхлый материал, из которого сделан.

Для меня ты, Шалавин, Злыднев и многие другие пролетарии представляются точно золотым фондом партии, ее золотым запасом. А вот я, Арефьев, вообще коммунисты-интеллигенты — мы как бы выпущены под этот золотой запас, мы бумажная валюта. Тот или иной рабочий может значить своим весом очень мало, но все-таки это малое — золотое. Интеллигент может обозначать большую стоимость и быть в данный момент для партии во много раз полезнее, чем рабочий, но он — бумага, ценность которой только держится на золоте и которая только имеет хождение наравне с золотом.

Так что, пожалуй, я уже истерся, изорвался, партия с успехом может потушить мою стоимость и превратить меня в никчемную бумажку. Объективно, может быть, так и должно быть, а субъективно все-таки тяжело.

Видишь, какое у меня от безделья занятие — занимаюсь философией.

Выступление Арефьева против ребят можно было предвидеть. У Арефьева есть черта, которая в одних случаях бывает его достоинством, а в других — его недостатком. Это то, что он признает свою ошибку только после того, когда ее сделает, и она его ударит. Вполне возможно, что он сейчас уже понимает, что ошибся, но оставаться ему на курсах нельзя. Тебе придется, верно, трудно, но ты справишься.

Ну, до свидания, жди моего письма. Ребятам всем привет. Надеюсь, что переписку с тобой буду продолжать. Твой Иосиф М.

МОЯ КРИТИКА «КОМИССАРОВ»

I

В определенных кругах советской литературы (Пильняк, Всеволод Иванов и ученики, кое-кто из группы «Кузница») до сих пор модно кокетничать иррационализмом и юродствовать на тему, что-де писатель сам не знает как пишет и т. д. Существует также другая разновидность литературного кокетства, когда лефовствующие интеллигенты развязно объясняют весь сложный процесс художественного творчества простыми фокусами и рассудочными рецептами.

К обоим этим разновидностям литературщины нам, пролетарскому писательскому движению, надо относиться с отвращением.

Мы прекрасно учитываем всю сложность работы художника, мы знаем как мало здесь исследовала наука и сколько сюда понатащили шарлатанского и поповского хлама за время всей истории человечества. Но мы уже знаем, что не было в прошлом мало-мальски крупного художника, который не стремился бы понять как он работает и посвятить в это своих учеников и единомышленников. Если нам приходится в этом убеждаться, исследуя переписку больших писателей и воспоминания о них, и если эти ценнейшие сведения носят не систематический характер, сейчас их приходится откапывать и исследовать, то это объясняется во-первых тем, что классовое мировоззрение художников прошлого ограничивало их способность познавать действительность и тем более такую сложную область, как своя же собственная работа, и во-вторых тем, что их способность к самокритике в сильнейшей мере искажалась индивидуализмом, собственническими привычками и т. д. (и до настоящего времени частенько у нас в писательской среде идут разговоры о том, что у меня-де есть хорошая тема, но я боюсь, чтобы ее у меня не украли.) Ведь от художников прошлого мы отличны и тем, что являемся представителями класса, владеющего ленинским диалектическим методом. Мы не посетители литературных салонов, где встречается десяток

избранных художников, мы — участники громадного движения восходящего класса, один из отрядов пролетарской культурной революции.

Наше движение требует от нас умения с максимальной объективностью подходить к своей собственной работе, требует желанья передавать свой положительный и отрицательный опыт всему движению. Мы растем. На то, что вчера было для нас вершиной, мы смотрим сверху, с высоты новых вершин, достигнутых нами. Но условием нашего подъема является умение трезво и объективно оценивать достижения вчерашнего дня. Так хочу я подойти к своей повести «Комиссары». Я хочу рассказать, как она была написана, и критиковать ее с точки зрения теперешнего понимания задач пролетарской литературы. Против высказывания писателем мнения о своей вещи — существует укоренившийся предрассудок. И правда, сразу после написания произведения довольно трудно освободиться от пристрастного отношения к своей работе.

Но, приступая к новой вещи, писатель не может обойтись без того, чтобы не критиковать предыдущий этап, — ведь это же залог его дальнейшего роста и я не вижу никаких причин делать это наедине с собой и ревниво охранять то, к чему перешел.

II

Основным моментом, определившим идейное содержание «Комиссаров» и подведшим меня к этой теме, я считаю то, что произведение это задумано и написано между двумя внутри-партийными дискуссиями, явившимися двумя этапами борьбы партии с троцкизмом («Комиссары» я писал с апреля 1924 г. по октябрь 1925 г.). Дискуссия 1923 г. была испытанием боевого большевистского качества для тех новых кадров, которые пришли в партию уже после октябрьской революции. В этой дискуссии «троцкизм» — опаснейшая разновидность меньшевизма — показал себя в новых условиях, он повел свою борьбу с большевизмом по-новому, приспособляясь к тому, чтобы в условиях пролетарской диктатуры, используя трудности первого периода НЭПа быть проводником мелкобуржуазного влия-

ния на коммунистический авангард пролетариата. Многотысячные массы партии в этой жестокой борьбе партии с троцкизмом получили боевую закалку. Как бы ответом на смерть Владимира Ильича, которая совпала по времени с разгромом троцкистов, был подъем боевого духа всей партии, широчайших масс трудящихся, была особенная сила в отстаивании чистоты Ленинского учения, особенно ожесточенная готовность к борьбе с классовым врагом и его пособниками внутри партии.

Это было также симптомом удачи нэпа, первым проявлением сплочения пролетариата на базе восстанавливающейся промышленности, сплочения все возрастающего и сейчас в условиях реконструктивного периода, превратившегося в постоянный подъем творческой энергии пролетариата, находящего все новые и новые невиданные формы социалистического строительства.

И вот, потерпев поражение, «троцкизм» готовится к новому нападению на большевистскую партию. В сложнейших условиях восстановительного периода НЭПа внутри партии происходят процессы подготовки к новой дискуссии. «троцкисты» разбиты — одни выжидают, затаились, другие пересматривают свои вчерашние взгляды. Но вот некоторые, еще вчера вместе с партией боровшиеся с «троцкизмом», заводят странные разговоры: «А не ведет ли ЦК слишком мягкую линию в отношении Троцкого? Политику-то мы ведем, конечно, правильную, но вот «мужики» — уж не слишком ли большие поблажки делаем им? И вот, если поставить теоретически вопрос — «существует ли у нас, на наших предприятиях эксплуатации труда, и что такое наши предприятия, отнести ли их к социалистическому типу или госкапиталистическому? И конечно все мы за ЦК, но разве нет ошибок?» Пока что все эти разговоры только «оттенки» настроения, «частности»; члены партии, работающие вместе в одной области, спорят по частным вопросам, еще никто не подозревает, что через несколько месяцев, недель различное понимание этих «частных» вопросов поставит одних на защиту ЦК, других сложным путем уведет в лагерь «троцкизма». (Так было, к примеру сказать, с нами, когда мы — напостовское большинство — спорили с Лелевичем, Вардиным, Родовым, Горбачевым по вопросам литера-

турной политики, не подозревая, что спорим с будущими зиновьевцами.) Однако опыт дискуссии 1923 г. уже был. К «оттенку» уже относились политически, была уже настороженность, в каждом споре по «частному» вопросу было стремление заставить противника уточнить свою точку зрения, додумать ее до конца и определить классовый характер того, что он говорит.

И в дискуссии 1923 г., и в дискуссии 1925-1926 гг. — оценка НЭПа обычно была той почвой, от которой отправлялись спорящие, потом уже в процессе спора доходя до различной оценки соотношений классов, характера государства и т. д. Такую роль вопрос о НЭПе сыграл и для меня: неправильное, небольшевистское понимание НЭПа, которое нашло свое выражение в моей повести «Завтра», привело меня к «троцкизму», и после того, как партия осудила партийную оппозицию, я, начав пересматривать мои взгляды, прежде всего натолкнулся на вопрос об отношении к НЭПу.

Моя мысль вернулась к недавнему прошлому, когда декрет о продналоге и брошюра Владимира Ильича обозначили грань между военным коммунизмом и новой экономической политикой. Я тогда переход к НЭПу понимал правильно. Почему же через полтора-два года я это перестал понимать? Очевидно потому, что растерялся перед трудностями нового, более сложного и более высокого этапа развития пролетарской революции. Стало быть, у меня не хватало каких-то органических свойств для того, чтобы в этих новых условиях вести политику партии. Очевидно я еще не разделаюсь с целым рядом черт мнимой мелкобуржуазной «революционности», очевидно не приобрел целого ряда свойств, обязательных для большевика. Так рассуждал я, и уже в этих рассуждениях заключалась первая, пока еще очень неопределенная и общая возможность возникновения темы «Комиссаров». Я мысленно как-бы пробова себя на переходе к НЭПу, я обнаруживал недостатки в том, как мною был принят НЭП, и в дальнейшем по этой линии сложились типы Арефьева и Миндлова и по противоположности еще очень неясно, но уже намечались настоящие большевики, люди, которые всеми этими недостающими мне свойствами обладали.

Если неправильная оценка НЭПа была той психологической почвой, на которой вырос мой «троцкизм», то с «троцкистским» пересмотром большевистских принципов строения нашей партии, требованием права на фракцию и группировку внутри партии, я всегда не соглашался даже тогда, когда шел за Троцким. Разгром «троцкистской» оппозиции показал во плоти и крови несокрушимое единство большевистской партии, все то, о чем я сам говорил в своих докладах, беседах, в своей повседневной пропаганде. И я подумаю о том, что основных пролетарских кадров партии я еще не знаю.

Постановление партийной конференции, где оппозиция определялась как проявление мелкобуржуазной стихии, поставило меня в тупик. Последовательные троцкисты заявили в ответ на это, что партия переродилась, что конференция «подобрана» из аппаратчиков и начали фракционную работу против партии.

Я же понимал, что это означает борьбу против диктатуры пролетариата. Так начался мой отход от оппозиции.

Все эти мысли особенно подчеркнула смерть Владимира Ильича.

Мне хотелось выразить свои чувства и мысли.

У меня зародилась тема большого произведения о смерти Владимира Ильича, я попробовал писать, но то, что выходило, отзывалось уже неприятными мне нотами «Завтра».

Я бросил писать. Мысли о смерти Владимира Ильича вели к рабочему классу, сила которого нашла в личности Владимира Ильича такое высокое воплощение. И вот, окончательно демобилизовавшись из армии, я прикрепился к ячейке завода им. Владимира Ильича в Замоскворечьи — б. Михельсон. Потом я на этом же заводе пошел к станку.

Первое, что я почувствовал на заводе, это то, что я в новых условиях, но вижу и слышу людей, знакомых мне по армии, моих товарищей по политработе и красноармейцев из рабочих. Но теперь я видел их в условиях, которые мне объясняли те черты их психологии, которые я не понимал, которым не придавал значения и которые ро-

мантически возвеличивал. Таким образом, у меня уже стал складываться основной типаж «Комиссаров» — Васильев, Громов, Злыднев, Кононов, Лобичев. Теперь, уже задним числом, я стал понимать то, чем они отличались от коммунистов из крестьян, из интеллигенции и мелкой буржуазии — и тут уже стали складываться будущие типы «Комиссаров» не пролетарского происхождения. И так же как я старался понять и осмыслить еще неясные образы Миндлова и Арефьева, пробуя их на переходе к НЭПу, так же я этим переходом стал пробовать этот рабочий типаж «Комиссаров», причем на этой пробе для меня прояснились и обнаружились различные, иногда высокие, иногда низкие их свойства и они определялись как большевистские революционеры или как люди с элементами отсталости, мелкобуржуазности, застоя. И так как я сам этот переход от военного коммунизма к НЭПу совершил будучи в учебно-политическом руководстве Окрвоенполиткурсов в Екатеринбург (ныне Свердловск), где были на политическую переподготовку со всего округа собраны комиссары и политработники, то у меня и возникло стремление показать, как на этом важнейшем узловом моменте истории партии, на переходе от военного коммунизма к НЭПу, происходит проба большевистского качества партийного коллектива, как на таком узловом моменте закаляется основное ядро партии и выявляют себя не только чужие, но и неустойчивые и надтреснутые партийцы, причем выявляют себя не только в прямой форме уклона, но и в тех формах «оттенков и настроений», учет которых чрезвычайно важен, так как он говорит о степени подготовки партийца к новому периоду.

В выборе этой темы сыграло свою роль также и то, что я еще не чувствовал себя в силах справиться с описанием дискуссии 1923 г., которая еще только закончилась, и то, что мой опыт работы в военно-политической среде, очень типичной по своему составу для лица партии, толкал меня именно в сторону этой темы. Такими путями политическая обстановка после 1923 г., переломившись через мое субъективное восприятие, подвела меня к теме «Комиссаров».

III

Стиль, в который воплотилось содержание «Комиссаров», сложился в использовании опыта всей пролетарской художественной прозы того времени и как один из моментов ее развития. В этом отличие «Комиссаров» от «Недели» и «Завтра». «Неделя» писалась вне связи с писательской средой, вне продолжения традиций пролетарской литературы, отталкиваясь от «Голого года» Пильняка и являясь по своему идейному содержанию и по стилю как-бы ответом на него. «Завтра» писалось после пошлого романа Тарасова-Родионова «Шоколад», тогда на шумевшего и ныне заслуженно забытого, и первых прозаических опытов Артема Веселого, в которых можно было предугадать всю дальнейшую линию его стилистических исканий, шедших в значительной степени под знаком футуризма.

Очень талантливая первая новела Колосова «Тринадцать», и еще совсем не устоявшаяся, подражательная и тоже первая повесть Фадеева «Разлив» — обе будучи написаны мне всякой зависимости от «Недели» — могут быть отнесены к одной с ней ступени истории пролетарской литературы, общая черта их — стихийное соединение наивного реализма с таким же наивным, но искренним революционным романтизмом.

Таким образом, если брать пролетарскую художественную прозу, то учиться мне было не у кого. Вот почему, когда я стал искать художественной формы, соответствующей содержанию «Завтра», то и нашел ее в развитии той романтико-декадентской тенденции, которая, как второстепенная, уже была заключена в «Неделе» (об этом см. три мои статьи «Как я работал над «Неделями» и почему мне не удалось «Завтра»).

Но одновременно с «Завтра» появляется «Железный поток» Серафимовича, «Против течения» Фадеева, и Фурманов, еще раз переработав, издает отдельной книгой «Чапаева». Эти произведения — лучшие в той волне пролетарской художественной прозы, к которой в то время переходит руководящая в пролетарской литературе роль и не видеть которой могли только воронщики и либеральствующие и меценатствующие коммчиновники (типа Ольхового, кото-

рый не так давно пытался поправлять нас «слева», впрочем так же неудачно, как в свое время «справа».

В этой волне массового движения еще очень неопределенно, но уже обозначаются стилевые особенности пролетарской литературы, получающие свое развитие во всей ее дальнейшей истории. Эти особенности, прежде всего, выражаются в общей материалистической тенденции, в стремлении писателя в основу сюжета положить события, которые он описывает в их причинной зависимости, обрисовать психологические черты людей в их обусловленности общественным бытием, в стремлении показать жизнь такой, какая она есть. Наш материализм был довольно механистичен и там, где дело касалось изображения глубоких классовых противоречий, их воплощения и отражения в характере и психике людей: мы подменяли диалектику — схемой, скрашивая ее наивной, но искренней революционной романтикой. Образцы такой романтики можно найти в «Чапаеве» Фурманова.

Линия нашей учебы, линия переработки «классического» наследства тоже была в то время еще не развита. В статье Лелевича «Отказываемся ли мы от наследства» общий наш курс был теоретически намечен правильно: в первую очередь учеба писателей, выражающих восхождение и расцвет классов. Но на практике заметно было, что мы «учились» у последышей русского реализма начала XX века и даже не у лучших из них (Чехов, Бунин), а у таких как Л. Андреев, Чириков, Куприн. И еще совсем нами в то время не был осмыслен громадный творческий опыт Максима Горького. Именно в этот период большое впечатление на меня произвела вторая вещь Фадеева «Против течения», в которой Фадеев, освободившись от элементов наивной Джеколондоновской романтики «Разлива» и не дойдя еще до сознательного воплощения диалектико-материалистического метода, в неразвернутом несознательном себе виде, показал в себе все те моменты, которые полное и сознательное выражение получили в «Разгроме». «Против течения» появившись некоторое время спустя после «Недели», именно потому не было оценено по достоинству ни читателем, ни критикой, а в скором времени спустя сам Фадеев перекрыл «Против течения» «Раз-

громом». Таким образом эта вещь осталась мало замеченной, а между тем ее насыщенность большевистской идейностью, ее несомненная художественная сила, по тому времени исключительно высокая, делают это произведение ценным и по настоящее время. Эта книга Фадеева оказала большое влияние на меня, когда я писал «Комиссары». Большое значение в создании «Комиссаров» имел также «Чапаев» Фурманова. Отталкиваясь от фантастики «Завтра», я сначала предполагал «Комиссары» написать по-фурмановски, т. е. основываясь на действительных фактах. Но я скоро отошел от действительных фактов и, сохраняя основные движущие закономерности описываемого мной объекта, стал перекраивать действительность, превнеся в описание Окрвоенполиткурсов весь опыт моей работы в армии и соответственно вымышляя события и типы людей.

Но мне уже и тогда казались наивными, слащавыми и не гармонирующими с общими особенностями творчества Фурманова целый ряд моментов в «Чапаеве». Я решил эти моменты преодолеть в «Комиссарах».

У пролетарской прозы этого периода уже обозначается стремление показывать борющиеся за социализм коллективы трудящихся в их руководстве коммунистической партией, в их схватке с классовым врагом. Приступая к работе над «Комиссарами», я эту задачу поставил перед собой сознательно, т. е. сознательно по-другому, чем в старой литературе, по-новому, по нашему стал разворачивать тему в сюжет, сделав его выражением основного общественного действия описанного в «Комиссарах», группируя людей согласно этому действию и стремясь, чтобы выделение главных и второстепенных героев обозначалось бы исходя из развития основного действия. И я сознательно отказался от каких бы то ни было элементов авантюрной интриги, от интригующих моментов любовных перипетий.

IV

Развитие темы «Комиссаров» воплощено в три сюжетных узла. В первом партийный коллектив, составившийся на Окрвоенполиткурсах, преодолевает тенденции застоя, кос-

ности, партизанщины и солдофонского чванства и переходит к дисциплинированной учебе. На этом этапе партийному коллективу приходится бороться с группой отстающих, «застоявшихся» комиссаров во главе с Николаем Ивановичем Смирновым. Разгром этой группы переплетается с нарастанием второго сюжетного узла, — это вопрос о принятии или не принятии новой экономической политики, это вопрос быть ли за партию или бороться против нее, который встает перед каждым комиссаром. Этот перелом болезненно осложняется общим положением в стране, главным образом, недородом. Здесь против партийного ядра борется мелкобуржуазная стихия в различных ее проявлениях, вплоть до хищников, временно прикрывшихся партийным билетом и понявших переход к НЭПу, как начало конца революции, когда из партии надо бежать, как с тонущего корабля. И, наконец, третий сюжетный узел, особенно яркое выражение находит в партийной чистке. Здесь окончательно проверяется партийный коллектив, здесь воедино склеивается основное ядро партии и обозначаются люди, не удовлетворяющие тем требованиям, которые станут каждому пролетарскому революционеру наступающий период. Все предыдущее развитие темы, все судьбы отдельных героев, должны были по моему замыслу найти окончательное разрешение именно на этом сюжетном узле. Прочитав книгу, читатель должен понять, как не сразу складывается партийное ядро, как постепенно проверяют друг друга на практике, сходятся люди, как они узнают друг друга в спорах, разговорах и поступках; таков спор Лобичева и Шалавина против Помадочкина, Смирнова и Дегтярева, таков спор Васильева с Громовым в первые дни приезда на курсы. Особенную роль в развитии темы «Комиссаров» должен был играть Кононов. Он первый начал думать за весь партийный коллектив. У него наиболее обостренное сознание тех трудностей, которые переживает революция, потому он сразу же начинает думать о партийном руководстве. Вот почему я большое значение придаю той главе, где изображено первое партийное собрание и где Кононова проваливают, как раз с тем самым списком партийного бюро, который прошел через несколько месяцев. Он опередил процесс кристаллизации партийного ядра,

он выступил в тот момент, когда партийное ядро еще не составилось; их соединяет сначала принципиальная борьба за учебную дисциплину, потом борьба за новую экономическую политику против паникеров и уклонистов, против хищников и, наконец, в последнем счете, черты общей социальной психологии, одинаковые чувствования поступков, слов, иногда оттенков речи, особенно сказывающиеся во время партийной чистки. Группа, сложившаяся в самом начале курсов для борьбы с военной дисциплиной курсов на платформе общего желания избежать тяжелой учебы, распадается: часть ее — Медовой и Коваль — примыкают к партийному ядру, становятся активистами; Дегтярев и Михалев в дальнейшем обнаруживают себя как чужие партии люди, различной, однако, степени вредности. И, наконец, ошибочная позиция Арефьева на партийной чистке, по которой Лобичев и Шелаев, а за ним и вся партийная организация определили черты социальной чуждости самого Арефьева; эта ошибка подготовлена всем предыдущим обликом Арефьева, отсутствием у него связи с массой, его семейным бытом и т. д. еще тогда, когда Арефьев вместе с партийным ядром борется с нарушителями дисциплины. (Я думаю, что если психологически проанализировать позицию человека, который завтра будет в уклоне, — еще тогда, когда он придерживается правильной линии, — то всегда можно в оттенках, в несущественных пока еще чертах обнаружить будущего уклониста.)

Особое значение для меня имело развертывание типа Миндлова. Неправильный бюрократический поступок Розова в отношении Миндлова вызывает своего рода психическую болезнь — манию — у последнего. Но эта мания насквозь социальна. Это своеобразная мания жертвенности, отречения от жизни, от любви к жене; в ней, в болезненной форме, выступили черты непролетарской психологии Миндлова. Это выражается в том, что когда Лобичев и жена Розова, Таня, спасают Миндлова и, уже выздоровев, он узнает, что его жена умерла, в ответном его письме выступают черты надрыва и упадка. Эти черты чувствуют Лобичев и Шура, эти черты при дальнейшем развитии могут обусловить отход Миндлова от партии.

Таковы вкратце основные движущие линии «Комисса-

ров». Они находят выражение в конкретных чертах личности того или иного человека, и это обуславливает тот или иной эпизод, где эти линии развития «Комиссаров», где их тема проявляет себя конкретно и создает конкретную ткань вещи. По прочтении «Комиссаров» читатель должен был получить полное представление о тех закономерностях, которые проявляют себя в жизни партийного коллектива с момента его образования и которые находят свое выражение в тех или иных чертах человеческого характера, движут поступками людей и определяют общественную позицию того или иного человека внутри коллектива. Я старался, чтобы эти позиции были бы различными политическими позициями, т. е. выражали бы различную оценку положения страны и перспектив революции, я старался, чтобы взгляды того или иного партийца не объяснялись бы вульгарно, по-обывательски, только соображениями личных счетов, семейственных дразг, шкурничества и местничества. Человек может перерождаться классово, оставаясь субъективно честным, не будучи ни шкурником, ни бюрократором, ни самоснабженцем. Классовое перерождение есть прежде всего изменившаяся классовая идеология, другой, не большевистский взгляд на революцию, и описывать партийного уклониста, не показывая этой изменившейся классовой идеологии, а сводя все дело к «бытовому загниванию» и т. д., так, как это ухитряется делать целый ряд тех товарищей, которые сейчас пишут о партийных разногласиях (Исбах «Крушение», Овалов «Ловцы сомнений», Горбатов «Наш город»), мне кажется совершенно недопустимо, так как снижает политическую суть произведения, оставляя уклониста неразоблаченным в его самом вредном проявлении. Я стремился заключить «Комиссары» в четкую форму, передающую все развитие темы. Начало и конец вещи происходит в одном и том же кабинете. Курсы зарождаются из мысли Розова, эта мысль обусловлена всей политической обстановкой округа, всем общим положением в стране, сознанием, что нужно подковаться, подобрать для новых боев и в этом же кабинете подводится идейный итог курсов — передача парторганизации новых работников, и не случайно эта передача включается в разговор об общих перспективах революции. Итог

курсов одновременно должен был как бы являться идейным результатом, выводом всей книги.

И еще одна важная черта присутствовала «Комиссарам». Если тогда, когда я писал «Неделю», я вообще не задумывался над семейно-бытовыми характеристиками героев, то в «Комиссарах» эти характеристики я старался давать. Их задача как бы дорисовывать каждого человека. Ведь переход от гражданской войны к мирному строительству, за которым стоял переход от военного коммунизма к НЭПу, ставил перед рабочим классом Советского союза задачу найти те пути, какими новые социалистические формы быта будут сменять и вытеснять старые, перешедшие от капиталистического общества. Изображать человека без обрисовки его семейного быта, являющегося важнейшей стороной его общественного бытия, могут считать возможным только романтики. И в этой особенности «Комиссаров» сказывается еще один шаг вперед по линии преодоления романтической тенденции моего творчества.

V

Таково построение «Комиссаров». То, что книга живет по настоящее время, то, что она стала орудием коммунистической пропаганды, что от ее опыта отправляются целый ряд растущих молодых писателей, говорит о том, что идея, лежащая в основе «Комиссаров», верна, и что в какой-то степени я ее художественно воплотил.

Но все же «Комиссары» не явились той вехой, тем этапом в развитии пролетарской литературы, каким явился на год позже вышедший «Разлом». Используя тот опыт, который уже был у пролетарской художественной прозы, «Комиссары» являются все же только шагом вперед — в пределах определенного этапа пролетарской литературы — количественным шагом внутри определенного качества. Между тем, в пролетарской литературе накопилось все то, что должно было бы обусловить появление вещи, обозначающей качественный скачок вперед.

На такую роль претендовал «Цемент» Гладкова. Появившись почти одновременно с «Комиссарами», он сопровождался шумным успехом, началась полоса диспутов. . . Интерес к «Цементу» двигался тем, что это была вещь, в осно-

ву которой была положена тематика восстановительного периода — восстановление завода силами самих рабочих, дисциплинирование, самоорганизация, пафос социалистического строительства. Именно в этом — громадное дело, сделанное Гладковым. Пролетарская литература впервые в развернутой форме подняла тему социалистического предприятия. Но Гладков не только не сделал шага вперед в смысле освобождения от схемы и романтики, по сравнению с «Железным потоком» Серафимовича, «Чапаевым» Фурманова и первыми вещами Фадеева, но, наоборот, он попытался в пролетарской литературе эту романтическую линию укрепить. Наиболее яркое выражение она нашла в изображении Глеба Чумалова.

Если Глеба Чумалова Гладков превратил в абстрактное воплощение всех добродетелей рабочего класса, то там, где он хочет изобразить отрицательную сторону действительности, там она приобретает также неестественно-романтический характер. Так изображен Бодьин, так комиссия по чистке партии выглядит — как соединение будущих автоматов, спокойно ввергающих в самоубийство, правда и неустойчивого, но все же живого «страждущего» интеллигента. Здесь интеллигентская романтика помешала Гладкову увидеть в членах комиссии по чистке — живых и лучших людей партии, делающих важнейшее ее дело.

Там же, где Гладков описывает рабочую массу, там он на тех чертах рабочего говора, которые выражают не основные особенности психики рабочего, а являются проявлением некультурности и от которых сами рабочие стремятся избавиться. И в полном противоречии с основной социалистической темой «Цемент» находятся семейно-бытовые мотивы романа отношения Глеба и Даши. Новизна Дашиной постановки вопроса об отношениях мужчины и женщины — мнимая: по этой линии Даша не коммунистка, а бовжуазная феминистка.

Здесь не место целиком определять все достоинства и недостатки «Цемент», мне хочется только обосновать то, почему он не явился вехой в развитии пролетарской литературы.

Такой вехой в развитии пролетарской литературы стал «Разгром», появившийся после «Цемент». Я буду критико-

вать «Комиссары», сравнивая их с «Разгромом» — и т. о., выделяю те моменты, которые обусловили громадное значение «Разгрома» в развитии пролетарской литературы.

Выше я уже сказал, что «Комиссары» появились как реакция на «Завтра». В «Завтра» ложна была самая идея вещи. Это предполагало особое отношение ее к средствам своего выражения. Когда идея отражает развитие действительности, те противоречия, которые движут ее, тогда художник, подчеркивая те моменты действительности, в которых с наибольшей силой выражается развитие противоречия, сгущая различия явлений до существенных их признаков, через все это выражая идею своего произведения, — тогда мы можем говорить, что такой художник вступил на путь искусства материалистического. Когда же, как это было в «Завтра», идея вещи ложна, то действительность отказывается служить ей, и мне пришлось раздувать несущественные моменты действительности до якобы существенных, создавая ложную конкретность произведения и насилая действительность.

Мой отход от «Завтра» был прежде всего отходом от этого насилия над действительностью. В «Комиссарах» я решил положить в основу то, что я действительно видел; я никогда, ни до ни после этого, не приходил так близко к фактическому описанию действительности, как в «Комиссарах», хотя «Комиссары» — это все-таки не вещь, говоря условно, фурмановского жанра, т. е. не описание подлинных исторических событий.

Материалом «Комиссаров» служили действительные события, случаи, разговоры, соотношения людей. Все это я восстановил в памяти, вновь записал. Дальше мне следовало провести ту самую работу по доведению различий до существенных различий, по сгущению отдельных черт, в которых проявляет себя противоречие, до того, чтобы через нее давалась бы действительность во всей полноте своей силы. Доведенная до конца, эта работа дала бы «Комиссарам» то единство, когда из призыва невозможно выкинуть ни одного эпизода и невозможно ничего вставить, не повредив идее вещи, нашедшей свое конкретное воплощение. В этом громадная сила «Разгрома». Фадеев сумел дать точное проявление ведущего противоречия в момен-

тах сюжета, такое его воплощение в характерах, что в «Разгроме» нет ничего лишнего и никому в голову не придет добавлять что-либо к «Разгрому».

Как обстоит дело с «Комиссарами»? Нельзя сказать, что я ту работу, которую провел Фадеев, не начал. Вернее сказать — она сама началась, т. е. она проявила себя стихийно во всей работе над материалом. Я сливал вместе одни эпизоды, «выдумывал», т. е. составлял из рассеянных элементов другие, отбрасывал третьи... Но как я это делал? Я примерял их к идее «Комиссаров», как к чему-то внешнему всему этому материалу. Я не умел так подойти к материалу, чтобы идея вещи, ее замысел развивался изнутри ее, доводя до максимальной осмысленности, до максимального единства все произведение.

«Завтра» — это насилие над действительностью при помощи ложной идеи. «Комиссары» — это неверие в силу идеи, понимание ее как чего-то внешнего в отношении объекта изображения. Между тем, идея «Комиссаров» имела всю силу для того, чтобы быть организующим началом материала и дать ему всю необходимую силу в самодвижение. И, если на отдельных узлах сюжетного развития «Комиссаров» мне удалась обрисовка тех процессов, которые переживает партийный коллектив в целом, если мне удалось наметить общие характеристики групп, в которых выявляет себя та или иная линия развития партийного коллектива, то я не сумел разрешить ту художественную задачу, которую разрешает «Разгром», дать в диалектическом единстве все разнообразие человеческих характеров, и через это в конкретности — выразить идею. Люди сцеплены механически, их сцепила идея Розова о создании курсов; на их взаимоотношениях, на их дружбе, антипатиях, идейной борьбе есть налет схемы, они разобщены друг от друга, они даны, главным образом, в их внешней конкретности. Я уже говорил, что не занимался голым отображением, я выдумывал, но выдумка моя в значительной степени была натуралистической, т. е. она констатировала кажимость явлений без проникновения в их сущность — точно так же, как может быть «фактическое» писание, лишенное всякого натурализма. И характерно, что там, где я больше выдумывал, там сильнее чувство-

вался этот натурализм. Возьмем, к примеру, фигуру Лобичева: он — фигура выдуманная, и он в сильнейшей мере «сделан», слеплена с натуры наружность, приданы душевные свойства, полагающиеся большевику его типа, для жизненности добавлены страсти. Самое живое во всем Лобичеве — его письмо в деревню, но у меня не хватило умения ту подлинную боль за косность, отсталость деревни, которая там есть, сделать основой развития личности Лобичева; письмо это — одна из «черт» Лобичева.

То же досадное соединение жизненных и выдуманных проявлений и в Кононове, и в Васильеве, и в Злыдневе; то, что жизненно — недоосмысленно, в результате чего характер не доведен до того, чтоб он с предельной силой выражал развитие противоречий, взамен этого к жизненным, но недоразвитым чертам механически прицеплены надуманные черты, уточняющие место героя в общем плане произведения.

Также обстоит дело и с взаимоотношениями людей. Люди не даны во всей сложности своего общественного бытия, в их отражении друг в друге, в их взаимопроникновении. Их антогонизмы в значительной степени развиваются механически, а между тем в самом существе этих антогонизмов есть все, чтобы дать им диалектическое выражение. Это отсутствие диалектической гибкости приобретает неправильный, искажающий действительность, характер в том месте, где я пытался дать противоположность интеллигентского и пролетарского ядра партии. Начать с того, что я, разобщая одних от других (интеллигенты: Арефьев, Миндлов; рабочие: Лобичев, Васильев, Кононов, Злыднев), исходил только из социального происхождения, между тем известно, что социальное происхождение, являясь существенным критерием для определения качества члена партии — отнюдь не является единственным. Таким образом, вполне мыслимо, а если исходить из живой жизни, из ее диалектики, обязательно наличие интеллигента, обладающего основными чертами пролетарской психологии (мало ли таких воспитала партия) и рабочего по происхождению, типичного интеллигента по психологии (таким тоже мы видели и продолжаем видеть не мало). В «Комиссарах» нет Левинсона из «Разгрома». Я не сумел показать, в ка-

кой степени пролетарская революция может перерождать лучших людей из интеллигенции и даже буржуазии — когда они переходят на сторону пролетариата и становятся его оружием в борьбе за коммунизм.

Если говорить о начисто отрицательных проявлениях интеллигентского индивидуализма и слабодушия, то я не сумел дать такой анализ Реховского, какой Фадеев дает Мечiku из «Разгрома». Задача Фадеева облегчалась в том отношении, что в «Разгrome» — Мечик поставлен в условия вооруженной борьбы. И все-таки эта задача с меня не снималась.

Если сравнить то, как написано пролетарское ядро «Комиссаров» и «Разгрома», то опять-таки — я не сумел довести фигуру Коваля до той степени художественного качества, чтоб она стала типичной. Я до сих пор считаю лучшей фигурой «Разгрома» — именно Морозко, во всей изумительной диалектике его характера. Взяв этого, скорее отсталого, чем передового рабочего, Фадеев сумел показать, что в нем проявляется так же героика восходящего класса, та же готовность отдать жизнь за коммунизм, которая движет всем классом. Опять-таки задача моя — развернуть такой характер уже в условиях учебы — очень трудна, но все-таки она с меня не снималась, и я, дав верный, но поверхностный портрет, не поднял его на степень типичности.

Есть один недостаток «Недели», в «Комиссарах» еще непреодоленный. В «Неделе» коммунисты показаны разобщенно от тех масс, на которые они опираются и которые за собою ведут. Объект «Комиссаров» — изображение коммунистических по составу курсов, по видимости, должен был бы избавить меня от этого упрека. Однако, так обстоит дело только по видимости. По существу же задача изображения отношения коммунистического авангарда и массы в «Комиссарах» не снимается, но становится еще сложнее. Показывая процессы, происходящие внутри партийного коллектива, где в иных формах происходит давление мелкобуржуазной стихии на недра пролетарской партии, я не поставил себе задачу показать это в условиях водительства партией беспартийными. Это несомненно усложнило бы мою задачу, но все-таки я должен был ее

поставить. Опять-таки Фадеев в «Разгроме», правда на показе более легкого объекта, с этой задачей справился.

Разбирая произведения, которые были написаны мной уже после того, как я прочел «Разгром», я напишу о той линии, по которой следует критиковать «Разгром», об его отрицательных сторонах и недостатках. Но, сравнивая его с «Комиссарами», я вижу основное достоинство «Разгрома», которое и сделало его вехой нашего движения, в том, что Фадеев сумел впервые в пролетарской литературе сознательно овладеть конкретно-чувственным материалом, доведя его до максимального насыщения идеей. Обе разновидности пошляков в литературе, и правые обыватели из «Перевала» и «Нового мира», ужасно «левые», взбесившиеся мелкие буржуа из литфронта, — основным свойством «Разгрома» считали, что там показаны «живые» люди, причем одни по этому поводу умилялись, другие бесились, — и те и другие по-одинаковому ничего не понимали. Суть «Разгрома» для нас, для пролетарского писательского движения — в силе большевистской идейности, диалектически воплотившей себя в конкретно-чувственных образах. «Живые» люди Фадеева — Левинсон, Морозка, Мечик, и далее, — все, до пастушонка, разговаривавшего с Метелицей да деда Пики, — они все едины и противоположны друг другу, и их жизнь, их движение — есть жизнь и движение идеи, и не видеть этого могут лишь идеалистические путаники от воронщины и переверзевины, не умеющие понять, где общественное бытие граничит с общественным сознанием.

Всего этого в «Комиссарах» нет, хотя возможности всего этого заложены в «Комиссарах». Отсюда — то, что люди, изображенные в «Комиссарах», разобщены, не доведены до диалектической противоположности, являющейся проявлением их слитности, их единства, отсюда массы выводимых новелл, разговоров, мотивов из «быта» военполитсреды, которые с чистой душой можно отбросить, так же как и добавить новые.

В общем, «Комиссары» стоят на уровне механического материализма, только в некоторых своих моментах поднимаясь до материализма и исторического, до подлинной диалектики искусства.

VI

«Комиссары» имели исключительно большое значение в моем творчестве. Так как они были вызваны к жизни моим соприкосновением с рабочими на заводе им. Вл. Ильича, то они должны были быть своеобразной подготовкой к моему переходу на заводскую тематику (это нашло уже проявление в «Комиссарах» в виде рассказа Злыднева о том, как он вступил в партию, рассказа, записанного со слов одного старого рабочего и большевика, тов. Данилова, тогда еще работавшего на заводе.

До сих пор у меня в черновиках есть разработка отца и матери Васильева, его возвращения в Москву, уже в условиях НЭПа, судьба Громова, Кононова и др. Мне представлялась целая эпопея, которая должна была охватить изображение НЭПа. Первой книгой должен был стать «Поворот», первая часть которого уже вышла, дальше должна была идти книга о «Прокукише» и о голоде 1921-го года, дальше — о первом периоде НЭПа до смерти Вл. Ильича. Они должны были бы быть самостоятельными произведениями, но соприкасаться с некоторыми действующими лицами. И первая часть «Поворота», и «Высоты», и «Рождения героя» частично выполняют это мое намерение. Лазарь Миндлов — брат Иосифа Миндлова — оба они должны были быть показаны в романе о первом периоде НЭПа, в «Повороте» действуют отец и мать Сережи Косихина, и во второй части «Поворота» будет действовать отец Васильева — старый рабочий.

Та семейно-бытовая коллизия, которая является основной в «Рождении героя» — вопрос об отношениях мужа и жены и об их отношениях к детям — она уже показывает себя в «Комиссарах», как один из главных мотивов. Этот мотив есть уже в разговоре Розова и Тани о ее праве иметь ребенка, как разговоре Шалавина с Лобичевым о любви и о детях, он скрыт за изображением брата и сестры, Сережи и Вари, непохожих, потому что она воспитывалась у отца, а он у матери. Только людям, крайне поверхностно относящимся к моему творчеству, может представиться, что тема «Рождения героя» возникла неожиданно. Так не бывает.

Но в «Комиссарах» эта тема находится на положении мотива, который однако очень поверхностно, механистически сочленен с главной темой. Мои наблюдения в этой области давили на меня, и недостаток мой состоял в том, что я, подчиняясь этому давлению, создал образы, не понимая, что они значат, не развивая их до того, чтоб они воплощали бы собой мою идею.

Самая тема «Комиссаров» — показ партийного коллектива на переходе партии от одного периода к другому, и то, как она развернута в сюжет, и, наконец, как она воплощает себя в важнейших моментах жизни партийного коллектива — в собраниях и заседаниях, в пропаганде, в разговорах на политическую тему — все это дало мне значительный положительный опыт, который я использую в дальнейшем, стараясь подняться на высшую ступень, избавляясь от тех недостатков в своем творчестве, которые я выше разобрал.

СОДЕРЖАНИЕ

Комиссары	9
Коя критиха „Комиссаров“	221

ОГИЗ Государственное Издательство
Художественной Литературы.

БЕЗЫМЕНСКИЙ. Трагедийная ночь. Поэма. Стр. 63. Ц. 60 к.

ГОРЬКИЙ. Избранные произведения. Стр. 375, ц. 60 к. в перепл. 1 р.

ГОРЬКИЙ. Собрание сочинений, том I, 2 изд. Стр. 302, ц. 3 р. 20 к.,
в пер. 3 р. 95 к.

ДМИТРИЕВ А. Есть вести корабль, серия «Литература и война».
Стр. 152, ц. 1 р. 20 к.

Э. ЗОЛЯ. Творчество. Стр. 510, ц. 2 р. 85 к:

ЛАВРУХИН. По следам героя. Записки рабкора. 3-е изд. Стр. 320.
ц. 1 р. 90 к., в пер. 2 р. 20 к.

ЛИБЕДИНСКИЙ Ю. Сочинения, том I, 1921—23 г. Стр. 224, ц. 2 р.,
пер. 20 к.

СИНКЛЕР УПТОН. Корабль-уголь. Стр. 416, ц. 70 к., в пер. 90 к.

Покупайте книги во всех магазинах
и отделениях книгоцентра.
